

Борис Камянов

**ПРОДОЛЖЕНИЕ
СЛЕДУЕТ...**





The background of the cover is a grayscale photograph. It shows a wide body of water in the foreground, with a series of stepping stones or small islands leading from the bottom center towards the middle ground. In the background, a city skyline is visible across the water, featuring various buildings and a prominent domed structure, possibly a cathedral or church. The overall tone is contemplative and historical.

Борис Камянов

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ...

(ВОСПОМИНАНИЯ)

БОСТОН • 2021 • BOSTON

БОРИС КАМЯНОВ: *Продолжение следует...*

BORIS KAMYANOV: *To Be Continued...*
(*Prodolzheniye sleduyet...*)

Copyright © 2003–2021 by Boris Kamyarov

All rights reserved. No part of this book may be reproduced or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording, or by any information storage and retrieval system, without the written permission of the copyright holder.

ISBN 978-1950319510

Library of Congress Control Number: 2021942067

Знак **h** в книге соответствует ивритской букве **ה** и читается как английское **h**.

Published by M•GRAPHICS | BOSTON, MA

 mgraphics.books@gmail.com

 mgraphics-books.com

Book Design by M•GRAPHICS © 2021

Cover Design by Larisa Studinskaya © 2021

Printed in the United States of America

*...И все же душа молода, и над нею не властвует время,
Дряхлая плоть для нее — надоевшее бремя.
Рвется в небо она и по звездам далеким гадает:
Интересно ей, дурочке, что там ее ожидает.*

ПО СОБСТВЕННЫМ СЛЕДАМ

Остановиться, оглянуться...

Александр Аронов

ОТ АВТОРА

Похоже на то, что основная примета подступившей старости — все более частое обращение человека к своему прошлому, попытки вспомнить как можно больше встретившихся в жизни людей, прежде всего, конечно, самых близких и дорогих, многие из которых переселились в иной мир.

Тот, кто обладает хотя бы минимальными литературными способностями и привычкой фиксировать на бумаге свои чувства и мысли, находится в выигрышном по сравнению с другими положении: он может написать о пережитом — и, возможно, его рассказ будет интересен не только современникам, но и людям следующих поколений.

Вряд ли я решился бы на этот труд без толчка извне — ленив я для прозы, не мой это жанр, даже публицистические статьи у меня, как правило, умещаются максимум на двух страницах. Но в две тысячи третьем году поэт Игорь Бяльский, главный редактор «Иерусалимского журнала», попросил меня написать воспоминания о московском литературном объединении «Знамя строителя», одном из самых известных в шестидесятые годы. Завершив свою работу, я преисполнился запоздалым раскаянием: ведь если бы не случай, мои друзья, ставшие частью меня, так бы и ушли навсегда вместе со мной; теперь же о них узнают и другие люди. С годами, правда, память стала подводить, многие из участников наших литературных сборищ только упомянуты в этих заметках, ставших главой книги, которую вы, читатель, держите в руках, но все-таки и отдельные стихи, строфы и строки удалось припомнить, и кое-какие истории, связанные с теми, кого я любил и люблю.

Отправив семнадцать страниц по электронной почте Бяльскому, я понял, что обратной дороги нет и мемуары писать придется. С чего начать? Решил — с самого начала. И новая забота появилась: успеть бы, ведь большую часть времени у человека, не накопившего к старости ничего, кроме болезней, занимает добывание хлеба насущного...

Внимание!
В тексте книги используется ненормативная лексика.

РОССИЯ

СЕМЬЯ

Родители мои, Исаак Яковлевич и Ольга Леопольдовна (Голда Липовна) Камяновы (мама — урожденная Бурштейн) происходили из ассимилированных семей, в которых языком общения был уже не идиш, а русский. Папа родился в белорусском местечке Докшицы в тысяча восемьсот девяносто седьмом году; его отец Яков Абрамович — двоюродный брат знаменитого художника Марка Шагала. Бабушку звали Фреда-Мера, девичья ее фамилия — Маркман. Израильские родственники, в большинстве своем — киббуцники, рассказывали мне, что был дед человеком веселым и, мягко говоря, далеким от религии; по субботам он обычно выходил на улицу и высмеивал верующих евреев, направлявшихся в синагогу. Из всех его потомков вернулся к иудаизму только я, тем самым, надеюсь, смягчив участь его души в том мире, где она пребывает.

Дед был таксатором леса и, полагаю, семья не бедствовала. Все четверо его сыновей — Борис (Берке), Исаак, Зяма и Муля — стали революционерами, папа вступил в партию большевиков в тысяча девятьсот двадцатом году, дядя Боря, поменявший тогда свою фамилию на Боряков, — еще раньше. В тридцать седьмом дядю Борю, ставшего к тому времени директором большого ленинградского завода, и Мулю посадили и вскоре расстреляли, деда с незажившей после операции раной арестовали, и он умер в витебской тюрьме в тридцать восьмом году. Жена Мули скончалась после десяти лет лагерей, их сын Марик сбежал из детдома и сгинул. Зяма погиб на фронте, его жена Ксана и сын Алик жили в Новосибирске. В декабре две тысячи одиннадцатого года сын Алика Саша приехал в Израиль с туристской группой. Он мне позвонил, мы с ним встретились и пообщались. Его отца уже не было в живых, он скончался в две тысячи пятом году. Мой двоюродный племянник, прошедший Афган и раненный там в голову, оказался славным человеком, очень родственным и доброжелательным. Мы с ним обменялись адресами в «Скайпе» и теперь регулярно созваниваемся.

Папа окончил Институт красной профессуры и сделал неплохую карьеру хозяйственника: был членом коллегии Союзпушнины и главным арбитром (думаю, что-то вроде аудитора) Аэрофлота.

Поскольку он не пожелал отказаться от отца и братьев, его, естественно, уволили — слава Богу, что не отправили вслед за ними, — и в годы моего детства (родился я в сорок пятом году) он был бухгалтером в тресте ГАРО (гаражного оборудования), а впоследствии — и до самой пенсии — главным бухгалтером хозяйственного отдела в Министерстве автотранспорта и шоссейных дорог РСФСР.

Мама работала перед пенсией экономистом в Главбумсбыте, учреждении, располагавшемся на Зубовской площади, и ее коллеги, затрудняясь выговорить трудное для них мамино отчество, называли ее «Ольга Леопардовна», хотя, видит Бог, с хищниками у нее не было ничего общего. Ребенком я долго допытывался у мамы, кем по специальности был мой дедушка, ее отец, пока она наконец не ответила малопонятно: «По специальности он был домо-владельцем».

Юмор этих слов я оценил, только когда подросток. Надо сказать, что чувство юмора маме никогда не изменяло. Помню, кто-то спросил ее об общем знакомом, умный ли тот человек. Мама ответила: «Да так себе... Полуумный».

Жила ее семья в Кишиневе. Незадолго до отъезда в Израиль я побывал в этом городе и видел дом, которым владел дед. Двухэтажное здание имело два крыла: одно выходило на улицу Стефана Великого, другое — на Комсомольскую. В то время — это был семьдесят пятый год — в нем находились фабрика игрушек и продуктовый магазин.

У мамы были два брата — Шломо (Семен) и Меир-Лейзер-Шмуэль — и две сестры — Сима и Роза. Сестры эмигрировали: Сима в Америку, Роза в Израиль, — и связи у мамы с ними не было, да и быть не могло при ее характере: она была так напугана тем, что произошло с семьей мужа, что категорически отказывалась даже говорить о сестрах. Когда уже во время хрущевской «оттепели» те приехали туристками в Россию, мама наотрез отказалась с ними встречаться — боялась подвергнуть опасности всех нас. Я, как назло, лежал тогда в очередной раз в больнице и повидать их не смог. С ними встречались моя двоюродная сестра, дочь Меира-Лейзера-Шмуэля Лилечка Островская, чьи братья, Юзик и Шурик, погибли на фронте, и дядя Сема. Когда в шестьдесят пятом году в Москве побывал один из многочисленных папиных двоюродных братьев-израильтян с женой, мама не пригласила их к себе и не приехала к моему старшему брату Вите в Черемушки, где мы с папой и вполне просоветски настроенные кибуцники провели незабываемый вечер.

Родители поженились и жили поначалу в Харькове, потом — в Ростове, откуда папу перевели в Москву. В Ростове в двадцать

четвертом году у них родился Витя, ставший впоследствии известным литературоведом и литературным критиком.

В Москве папа и мама получили неплохое по тем временам жилье в доме, стоявшем на углу Новинского бульвара (с сорокового по девяностый год — улица Чайковского) и Кречетниковского переулка; на его месте сейчас находится площадка на Новом Арбате перед рестораном, который в мое время назывался «Арбат». В квартире были три комнаты: две смежно-изолированные метров по шестнадцать каждая, одна — восьмиметровая, в которой жила вдова фронтовика Розалия Павловна (она же Рахель-Лея Файвелевна) Гершман, работавшая в какой-то медицинской лаборатории, и совсем крохотный закуток за кухней, где помещались только кровать и тумбочка и где жила наша домработница Настя, Анастасия Алексеевна Подколзина.

Когда я родился, Насте было сорок лет, и в семье она уже давно была родным человеком, ибо поселилась у папы с мамой еще в тридцатые годы, приехав в Москву из деревни в Орловской области. Хотя была она малограмотной, письма родным в деревню писала самостоятельно; моей обязанностью было только надписывать конверты. Последний адрес (названия колхоза менялись постоянно) был таким: Орловская область, станция Красная Заря, село Верхняя Любовша, колхоз «Труженик».

Своих детей у Насти не было, да и с ухажерами ей не везло, все они были горькими пьяницами, и когда надо было решать, уходить с одним из них или оставаться с нами, она выбирала нас. Настя меня обожала и баловала до невозможности; я ее любил как мать, и первое слово, которое я произнес, было не «мама», а «Нана», — мама работала, в ясли и садик меня не отдавали, и я проводил с Настей целые дни. Всю жизнь она читала одну-единственную книгу — «Анну Каренину», причем ежедневно понемножку — и в грамоте была не сильна, и домашняя работа оставляла ей мало свободного времени. На одних и тех же местах она утирала подолом фартука слезы, а когда доходила до конца, открывала первую страницу и начинала читать снова, и так — всю жизнь.

Во время войны родители были в эвакуации в Краснокамске; Настя категорически отказалась уезжать и осталась одна в пустой квартире до их возвращения. Во время воздушных тревог она ложилась на тахту и накрывала голову подушкой.

Брат мой Витя был на войне боевым офицером, командиром разведки артиллерийского дивизиона на Северном фронте. Войну он закончил в Германии, где прослужил после этого еще год в комендатуре какого-то городка. По возвращении в Москву двадцатидвухлетний Витя, которого дома ожидал годовалый братец,

названный папой в честь своего старшего брата Борисом, поступил в Педагогический институт на факультет русского языка и литературы, по окончании которого получил распределение в Костромскую область, в деревенскую школу в Шарьинском районе. Оттуда он через пару лет вернулся в Москву с молодой женой, тоже словесницей, Валентиной Павловной, урожденной Забродиной. Молодые поселились в столовой, в спальне жили мама, папа, я, бабушка Бейла-Ривка и Мурочка, ленинградка, пережившая блокаду, во время которой у нее на руках умер от голода старший брат Жорик. Их мама Софья, жена дяди Бори, была арестована вместе с ним, прошла лагеря, после смерти Сталина отправлена в ссылку, работала уборщицей в какой-то периферийной школе и вскоре скончалась — от голода, как и сын. В Ленинграде Мурочка выжила благодаря тете Зине, двоюродной сестре наших отцов. После смерти Жорика та взяла Мурочку к себе, что по тем временам было настоящим подвигом: она сама голодала, а ее муж от голода сошел с ума. У тети Зины было двое детей: Оля и Кадик. Всех их вывезли из блокадного Ленинграда по льду Ладожского озера, но тетя Зина и Кадик вскоре умерли.

Папа забрал Мурочку в Москву. Она жила у нас несколько лет, а потом сняла комнату в Покровском-Стрешневе, но вскоре вышла замуж за вдовца Израиля Иосифовича Нисмана, фронтовика, воспитывавшего двух сыновей, и переехала к нему. Когда дядю Борю реабилитировали и Мурочка получила компенсацию (это была значительная сумма), она подарила нам телевизор «Рекорд», и родители, отказывавшиеся поначалу принимать такой щедрый дар, в конце концов смирились.

Квартира же наша между тем становилась все теснее: в пятьдесят четвертом и пятьдесят восьмом годах у Вити и Вали родились сыновья Игорь и Андрей. Когда умерла бабушка, мы «рокировались»: мама, папа и я перебрались в столовую, а Витя с семьей — в спальню. Брат с женой много работали, Настя со всеми детьми управиться не могла, и в комнате молодых Камяновых появился пятый жилец, вернее, жилища, Таня, бабенка в самом соку, из Настиной, вроде бы, деревни. На ночь для нее ставили раскладушку.

Семья наша была дружной, хотя в условиях коммуналки случилось, конечно, всякое. Дни рождения и все советские праздники мы отмечали застольем; к нам приезжали Лилечка с мужем Володей и сыновьями Сашей и Гришей и папина двоюродная сестра Роза Яковлевна Топаш, которой девчонкой удалось в годы войны избежать гибели в белорусском местечке Чашники, удрав от расстрельной команды в лес из шеренги обреченных евреев. Приезжала она с мужем Абрашей, сыном Колей и дочкой Софочкой. Бывал у нас

и мамин брат дядя Сема с сыном Сашей. Не понимаю, как нам удавалось размещаться за столом, однако удавалось.

Папа и мама тоже ходили в гости к родным и друзьям и часто брали с собой меня. Бывали мы у Топашей, живших далеко от нас в каком-то жутком районе, на первом этаже двухэтаж-



Авторенок с родителями

ного деревянного дома; у дяди Семы на Самотеке, где он жил до развода с женой Людой, красавицей украинкой, сыном и тещей. У Островских были две крохотные комнатки на Пушкинской площади, тоже в коммуналке. Володя, муж Лилечки, — уроженец Одессы, фронтовик, как Витя и Изя Нисман. Работал он в Институте радиовещания и телевидения рядом с площадью Восстания, был автором множества изобретений. Они с Лилечкой трогательно любили друг друга всю жизнь, до самой смерти Володи в девяносто девятом году. Я бывал у них не так часто, как хотелось, по одной причине: их соседями были мерзкие алкаши, причем глава семейства, кагебешник, имел справку о психическом заболевании; действительно ли он был болен или косил, я не знаю, но типом он был опасным: время от времени выскакивал на общую кухню с топором и угрожал соседям. Под стать ему был и его сын Юрка, начинающий уголовник. Атмосфера в этой квартире всегда была чреватой взрывом.

На Плющихе жили в коммунальной квартире друг детства папы Абрам Моисеевич Раппопорт с женой Евгенией Наумовной; их сын Миша погиб на фронте. На улице Воровского, тоже в коммуналке, жили друзья родителей Абрам Лазаревич Смоляк и его жена Раиса Лазаревна. Она очень любила дружеские пирушки и, садясь за стол у себя дома или у нас, приговаривала, потирая руки: «Водочка, селедочка, картошечка!»

Их дочь Ира, добрая рано располневшая молодая женщина, была влюблена в Витю, однако взаимностью не пользовалась. Ира была ортопедом и опекала меня, когда я лежал в госпитале на Дубровке. Витя в гости с нами не ходил, считал застолья потерей времени, и когда уж никак нельзя было отказаться посидеть с родственниками — на собственном дне рождения, к примеру, — с нетерпением ждал, когда собравшиеся увлекутся беседой, и пересаживался от

обеденного стола за письменный, проверяя школьные тетради или работая над очередной статьей.

В начале шестидесятых Витя с семьей получил двухкомнатную квартиру в черемушкинской «хрущобе», и их комната досталась мне. Впервые в жизни я оказался единственным жильцом на целых шестнадцати квадратных метрах.

Судьба моих родных сложилась так. Папа умер в шестьдесят шестом году. В это время началась застройка Нового Арбата, наш дом шел на снос, и нам с мамой выделили двухкомнатную крохотную квартирку на Открытом шоссе, рядом с лесопарком. Настя получила приличную комнату в коммуналке неподалеку от нашей старой квартиры и скончалась, прожив там несколько лет. Она часто приезжала к нам, иногда оставалась ночевать, давая мне ключ от своего жилья, куда я приводил на ночь подружку.

Мама умерла в восемьдесят втором году, в это время я уже шесть лет жил в Израиле. Витя ушел из жизни в девяносто седьмом году, Валя пережила его на шестнадцать лет. Игорь — известный в России художник, Андрей — бизнесмен, владелец крупной рекламной компании. Мурочка с Изей теперь иерусалимцы, их опекает младший сын Гриша, живущий с семьей по соседству с ними. Старший, Боря, пожив на исторической родине, вернулся в Россию. Лилечка тоже побывала израильянкой и возвратилась в Москву; ее старший сын Саша с третьей женой Наташей и их общей дочерью Бат-Шевой живет в поселении Гиват-Зеэв неподалеку от Иерусалима. В России у него остались сын и дочь от второй жены — Сема и Аня. Тетя Роза Топаш, двоюродная сестра папы, скончалась зимой девяносто первого года в Хайфе от инфаркта: недалеко от их дома разорвался первый из иракских «скадов», обрушившихся на Израиль. Ее муж и дети с семьями уехали в Канаду. Там же много лет жил и сын дяди Семы Саша Савченко, умерший в две тысячи тринадцатом году.

ИЗРАИЛЬ

НАЧИНАЮ С НУЛЯ

Когда мы с единственным моим попутчиком-евреем оказались в зале для прибывающих пассажиров аэропорта Вена-Швехат, к нам подошел мужчина средних лет явно еврейской внешности, безошибочно выделивший нас в толпе. Отрекомендовавшись работником транзитного лагеря, в котором бывшие (бывшие! Счастье-то какое!) советские евреи ждут отправки в Израиль, он раздобыл багажную тележку, погрузил на нее наши чемоданы, и мы вышли на автостоянку, где сели в ожидавший нас микроавтобус. Вскоре мы прибыли на место, и я сразу же отправился искать кого-то из начальства, чтобы позвонить в Москву и успокоить друзей. Я рассказал о том, что со мной произошло, Майе Федоровой, она сразу же передала наш разговор Лернерам, те связались со Щаранским, и вскоре все мои близкие в Москве узнали, что я благополучно прибыл в Вену.

В этом городе мы провели двое суток. Из лагеря, где уже ждали отправки в Израиль несколько десятков человек, нас не выпускали — опасались терактов, так что история с Тбилиси повторилась. Багаж каждого был тщательно обыскан ребятами из ШАБАКа — израильской Службы общей безопасности. Каждого прибывшего вызывали к представителю той же организации — для беседы. Два дня мы бездельничали — знакомились друг с другом, играли в пинг-понг, травили анекдоты. Был там Сема Рикман, с которым мы в Москве сдавали багаж, шедший малой скоростью. Познакомился я с математиком из Баку Ильей Канторовичем, известным советским шашкистом и альпинистом, выехавшим с женой, сыном и дочерью и ставшим впоследствии близким моим товарищем.

Была там еще одна семья, с которой я подружился: одесситы Гершензоны, Борис Моисеевич, Маргарита Александровна и их очаровательная дочь Алла. В Израиле уже жил в центре абсорбции их сын Толя, который тоже стал моим другом, в дальнейшем я о нем расскажу подробнее. Гершензоны везли с собой добермана-пинчера по кличке Реджи, из-за которого в лагере разразился страшный скандал. Однажды я стоял с ними на ступеньках лестницы и о чем-то беседовал. Воспитанный и добродушный пес спокойно сидел у ног хозяев. В это время с лестничной площадки стал

спускаться сын местного раввина, пухлопопый тринадцатилетний мальчик, приехавший к родителям из Израиля отмечать свою бар-мицву — совершеннолетие. Увидев собаку, он сначала остановился — религиозные евреи, за редкими исключениями, почему-то не считают этих животных друзьями человека и боятся их, — а потом, решившись, попытался на высокой скорости проскочить мимо нас. Пес от неожиданности испугался пацана еще больше, чем тот его, и тяпнул бегущего за отключенную часть тела. Прибежавший на крики сына раввин потребовал, чтобы собаку проверили на бешенство у ветеринара. Гершензоны показывали справки, согласно которым животное было совершенно здоровым, но отец пострадавшего не желал доверять этим бумажкам, и до самого нашего отлета из Вены происшедшее было для всех нас, кроме, понятно, Гершензонов и раввина с сыном, темой для шуток.

В аэропорту имени Бен-Гуриона мы приземлились поздно вечером и провели в зале для репатриантов всю ночь. Израильтян, кроме сотрудников Министерства абсорбции, распределявших вновь прибывших по городам страны, в зал не пускали, но Веньке Рыбакову, который еще не был тогда для меня Бен-Йосефом, каким-то образом удалось просочиться внутрь. Был он в те дни в милуиме — так на иврите называются резервистские сборы — и получил увольнительную на день, чтобы встретить меня и отвезти на первое время к себе, в Иерусалим. В военной форме, с автоматом, он произвел на меня сильное впечатление. Пройдет немногим более года, и я сам буду производить такое же впечатление на новичков.

Если бы Венька хоть чуть-чуть разбирался в том, что происходит в Израиле в сфере абсорбции, он бы посоветовал мне проситься в Тель-Авив или Хайфу — тогда у меня был бы хоть какой-то шанс попасть в Иерусалим, где я хотел жить. Но мой наивный товарищ этого не знал, и я честно сказал занимавшемуся мной чиновнику, что хочу обосноваться в столице. Тот, следуя негласной внутренней инструкции, учел мое желание и выдал мне направление на север страны — в хайфский центр абсорбции для одиночек «Бат-Галим» («Дочь волн»). Единственно, чего удалось Веньке добиться, это разрешения для меня провести первую неделю в Иерусалиме. Чемоданы я отправил со знакомым, который тоже угодил в Хайфу, попросив Тель-Авив, а сам отправился с Венькой на его машине в Иерусалим.

Когда мы подъезжали к подножью Иудейских гор, рассветало. Справа и слева от шоссе стали все четче вырисовываться покрытые хвойными лесами холмы. Чем дальше мы продвигались на восток, тем выше они становились, и шоссе, петлявшее среди них, в какие-то минуты вело, казалось, прямо к солнцу, поднимавше-

муся вдали над землей. Я совсем не сентиментален, скорее даже циничен, и у меня не появилось желание, попросив Веньку остановиться, выйти из машины, стать на колени и поцеловать эту землю. Однако с первых же минут пребывания на ней мне стало ясно: она — моя, родная и единственная. Что бы здесь со мной ни произошло, я у себя дома. Это ощущение, возникшее у меня тогда, не покидало меня все эти годы и уже никогда не покинет.

В квартиру Веньки и Ленки в иерусалимском квартале Сен-Симон мы вошли около шести утра. Кроме хозяев, в доме была милая молодая женщина с ямочками на щеках — Наташа Щаранская, взявшая еще в России еврейское имя Авиталь. Они с Ленкой, как выяснилось, вообще в ту ночь не ложились спать, ожидая нас. Не помню уже, привез ли я им что-то от родных, но бутылку водки из Москвы прихватить не забыл. Друзья мои от нее отказались, и я, рассказывая им об их близких, уговорил ее сам и лег спать.

Всю неделю, проведенную мной в Иерусалиме, Наташа водила меня по самым интересным местам, начав, естественно, с еврейского квартала Старого города и Стены плача. Мои впечатления от увиденного там полнее всего отразились в стихотворении, которое я написал через три года после приезда и включал с тех пор во все свои сборники стихов.

СТАРЫЙ ИЕРУСАЛИМ

Войдешь в зловоние Востока —
И задохнешься от восторга!

Курилен тайных дурь и чад,
Бессмыслица людского хора,
Вой одичалых арабчат
И человеческий крик хамора.*

В тупой покорности судьбе
Плетется, замшевый, замшелый,
И взор печально по тебе
Скользнет, больной и ошалелый.

Тут — иностранцев толчея
У лавок древностей фальшивых,
И у помойного ручья —
Баталия котов паршивых.

* Хамор — осел (*иврит*).

До этой страшной высоты
Как доползла такая проза?
Язычники свои кресты
Несут по Виа Долороза.

Степенно шествуют попы,
Снуют проворные монашки...
Дымятся красные супы,
Кровоточат бараньи ляжки.

Туристы всяческих пород
Столпотворят язык базарный,
И кто-то в медный тазик бьет,
Как будто в колокол пожарный.

За поворотом поворот,
Уж гомон за спиной, и вот
Перед тобою — панорама:
В горячей солнечной пыли,
За светлой площадью, вдали —
Стена разрушенного Храма.

Вот ты и дома. Не спеши.
Следи, как в глубине души
Растет прорезавшийся трепет.
Польются слезы, как стихи:
Господь простил тебе грехи
И вновь тебя из праха лепит.

К стене ты приложишь щекой
И слушай, как журчит покой,
К сухой душе пробив дорогу.
Ты вновь — у вечного ручья,
Ты вновь — в начале бытия.
Ты снова дома, слава Богу.

В первый же день Наташа привела меня на рынок Маханэ Йеѓуда, и посещение его стало для меня настоящим шоком. Я смотрел на сновавших вокруг людей самых разных человеческих типов; любовался девушками в легких блузках, под которыми не было лифчиков, — все они казались мне красавицами; слышал крики веселых продавцов, относившихся, похоже, к своей работе как к забаве; вдыхал незнакомые запахи каких-то пряных приправ... Но самым

большим потрясением для меня стало, конечно же, изобилие продуктов: мясо и птица, разнообразные фрукты и овощи, груды чисто вымытого, без налипших комьев земли, картофеля, холмы репчатого лука, который в Москве уже давно был дефицитом, на каждом шагу — забегаловки, в которых смуглые сефарды пили свой излюбленный напиток: арак — анисовую водку... Я только озирался и все время спрашивал у Наташи:

— Неужели это тоже еврей? А вон та негритянка — и она еврейка?

В тот же день я познакомился с Наташиным младшим братом Мишей Штиглицем, высоким красавцем с ямочкой на подбородке (эти ямочки у них с Наташей — нечто вроде семейного знака качества), ставшим вскоре моим другом. Внешне феноменально похож на него известный российский актер Сергей Шнырев, но куда ему до обаяния Штиглица!.. Миша был археологом и в один из моих первых дней в Иерусалиме взял меня на раскопки, которые он проводил в южной части Иудейского предгорья, в районе города периода Второго храма — Бейт-Гуврин. Под его началом работали несколько арабских мальчишек; он дал им задание на день, и мы отправились бродить по окрестным холмам. Помню большой подземный склеп, очевидно, принадлежавший одной семье, в стенах которого были вырублены ниши для оссуариев — каменных ящичков, в которых местные эллинизированные евреи хоронили в третьем-первом веках до нашей эры кости своих покойников, когда их плоть истлевала. Ниши были пусты — грабители склепов похищали оссуарии, украшенные затейливой резьбой, а кости выбрасывали за ненадобностью.

* * *

Между тем неделя кончилась, и мне пришлось ехать в Хайфу. Центр абсорбции для репатриантов-одиночек «Бат-Галим», находившийся у самого берега моря, оказался очень похожим на советские пионерские лагеря: одноэтажные домики с комнатами на несколько человек, административные помещения, столовая. Вот чего не было в совдепии и что было здесь — это классы для изучения иврита. Впрочем, я там практически не бывал: восстанавливал свои стихотворные архивы по списку из первых строк стихотворений, который вывез из Москвы. Утром, после завтрака, я покупал в ближайшем киоске бутылку отвратительной водки «Люксусова» (две остальные имевшиеся в продаже марки — «Тройка» и «Казачок» — были еще гаже), садился за машинку имени Славы Клыкова и стучал по клавишам до вечера, принимая на грудь время от времени порцию водки и отвлекаясь только на обед и ужин. Толя Гершензон, живший в том же центре абсорбции, вспоминал впослед-

ствии, что это было зрелище не для слабонервных: жара градусов под сорок, влажность под сто процентов (все мы просыпались по утрам в луже из собственного пота), а я сижу в комнате без кондиционера и холодильника и пью мерзкую «Люксусову», которая вот-вот закипит...

Когда все стихи были восстановлены и перепечатаны в нескольких экземплярах, я решил, что пора начать публиковаться в местной русскоязычной прессе. В то время все редакции находились в Тель-Авиве: ежедневной газеты «Наша страна», еженедельника «Клуб», журналов «Сион» и «Время и мы». Собрав подборки стихотворений, я отправился на автобусе в самый крупный в ту пору израильский город.

В рубашке и брюках, в которых я прибыл из России, ходить летом было жарко, и я решил завести себе гардероб соответственно тогдашней израильской моде: большинство нерелигиозных граждан, как мужчин, так и женщин, ходили в тонких безрукавках и шортах. Перед поездкой в Тель-Авив я купил на уличном хайфском развале майку и оранжевые шорты, переоделся и в таком виде отправился в путь. На тель-авивском автовокзале мне понадобилось в туалет, и там выяснилось, что шорты я приобрел страшно неудобные: с молнией на боку. Я мучился в них полгода, пока кто-то не обратил на них внимание и сообщил мне, что они просто-напросто женские. Я их выстирал, погладил и подарил одной из своих новых знакомых. На память об этом конфузе у меня осталась фотография тель-авивской демонстрации, в которой я принимал участие. Раввин Меир Кагане с группой своих сторонников, к которым я тогда по случаю присоединился и среди которых был юный Барух Марзель, продолжающий сегодня дело своего учителя, демонстрировал напротив помещения центрального комитета израильской компартии на улице Нахмани, протестуя против чего-то, а чего именно — я теперь и не упомяну. В компании строго одетых религиозных людей я на этой фотографии выгляжу натуральным попугаем...

В Тель-Авиве я побывал в редакциях «Нашей страны», где работали две симпатичные женщины — Рита Старовольская и Итала Белопольская, и журнала «Время и мы», который основал и редактировал Виктор Перельман, в прошлом — сотрудник «Литературной газеты». Всю черную работу выполнял там пожилой прозаик Михаил Шульман, одинокий человек, живший в целях экономии в помещении редакции. Миша меня привечал и во время моих поездок в Тель-Авив из Хайфы, а потом из Иерусалима, оставлял там же ночевать, благо спальное место имелось — старый продавленный диван. Выпито было нами в эти вечера немало... Рита и Итала ото-

брали кучу стихов и обещали их печатать понемногу, но регулярно, Витя взял для девятого номера поэму «Похмелье» и две подборки для следующих выпусков. Все они свои обещания выполнили, и от публикации к публикации я становился все более известен читающей публике.

«Похмелье» Перельман опубликовал в ближайшем же, девятом номере журнала, который вышел в свет в августе, и даже выплатил мне небольшой гонорар, за который, правда, пришлось с ним повоевать, ибо он очень не любил платить авторам. Илюша Рубин, с которым я советовался по этому поводу, написал мне:

«...Письмо твое получил. Насчет „не давать бесплатно“ — не только собираюсь делать это впредь, но уже поставил условие: оплатить одну стихотворную самиздатовскую публикацию, данную мной для № 10... Я твердо решил не спорить с ним и не торговаться: либо он платит, либо я стихи забираю. Со времени моего прошлого письма появились еще дополнительные штришки, подтверждающие правильность моей (теперь — нашей) позиции. Косвенно я узнал, что деятельность Перельмана отнюдь не убыточна и все его стенания — сплошное лицемерие скряги... № 9 уже вышел. Поздравляю тебя, старик! Думали ли мы когда-нибудь, что увидим твое „Похмелье“ напечатанным иначе, чем на машинке? Однако — вот оно, лежит передо мной, предваренное твоей нахальной физиономией...»

Илюши вскоре не стало, но всякий раз в своих дальнейших переговорах с израильскими издателями, жаловавшимися на убыточность их предприятий и торговавшимися за каждый грош, я вспоминал непримиримую позицию моего покойного товарища и держался стойко.

* * *

В один из своих приездов в Тель-Авив я побывал в Союзе русскоязычных писателей Израиля, входящем в Федерацию союзов израильских писателей, пишущих на разных языках, познакомился с его тогдашним председателем Ицхаком Цетлиным и подал заявление о приеме, приложив к нему рукопись своей так и не изданной пока книги. В союз меня приняли довольно быстро, и я сдал рукопись в Министерство абсорбции для получения субсидии на ее издание — в те годы государство оплачивало публикацию первой книги каждого репатрианта, принятого в СП.

В Тель-Авиве выходил журнал «Сион», издававшийся Общественным советом солидарности с евреями СССР — организацией, то ли созданной МИДом, то ли курировавшейся им. Выпускали

его партийные функционеры (власть в стране тогда безраздельно принадлежала так называемой Рабочей партии), но незадолго до моего приезда в редколлегию были включены известные литераторы, репатриировавшиеся недавно. Вокруг них сформировался своего рода кружок, в который входили Александр и Нина Воронель, Рафаил Нудельман, Илья Рубин, Майя Каганская, Нелли Гутина. Эта компания, с которой был близок и я, опубликовавший в этом журнале несколько стихотворений, пыталась превратить его из пропагандистского органа истеблишмента в журнал литературы и общественно-политических проблем, удовлетворяющий запросы гуманитарной и технической интеллигенции, к которой в те годы принадлежало значительное число выходцев из СССР в Израиле. Кончилось это тем, что в семьдесят восьмом году представители старожилов и вновь прибывших окончательно разругались и подготовленный командой Воронеля и Нудельмана двадцать второй номер «Сиона» вышел за ее собственный счет и положил начало новому журналу, существующему и по сей день, — «22».

* * *

Промучившись недели три в бат-галимовской душегубке, я отправился в Иерусалим, в Министерство абсорбции. Войдя в здание, я подошел к двери самого близкого от входа кабинета, постучался и вошел. За столом сидел молодой симпатичный парень и недоуменно на меня смотрел.

— Вы говорите по-русски? — спросил я.

— Говорить-то говорю, — ответил он, — только вы, похоже, не туда попали, я прием репатриантов не веду.

— Я не знаю, к кому идти, — сказал я ему, — но раз уж попал к вам, то выслушайте меня, может быть, вы мне поможете.

— Садитесь и рассказывайте.

— Понимаете, меня направили в Хайфу в «Бат-Галим», но жить там я не хочу. Единственные близкие мне люди — иерусалимцы. Переведите меня в здешний центр абсорбции, очень вас прошу!

— Кто вы по специальности?

— Я литератор, пишу стихи, на днях меня приняли в Союз писателей.

— Как ваша фамилия?

Я назвал.

— Я читал твои стихи в «Нашей стране», — перешел парень на «ты» и представился: — Алекс Векслер. Попробую что-то для тебя сделать.

Он поднял трубку и набрал какой-то номер. Разговор шел на иврите, которого я не знал, успел только выучить алфавит у извест-

ного московского преподавателя Владимира Куравского. Закончив, Алекс сказал:

— Порядок. Через неделю начинаются занятия в ульпане «Эцион». Одиночки и живут там же. Я договорился о твоём переводе, так что перебирайся.

Десятки лет прошли с тех пор, но я помню этот героический поступок Алекса и благодарен ему за него. Впрочем, и он о нём не забывает: вскоре он стал известным общественным деятелем и с тех пор, выступая перед новыми репатриантами, с гордостью рассказывает о том, какую роль сыграл в моей судьбе. Сегодня Алекса Векслера знают многие русскоязычные израильтяне: он часто выступает в передачах телеканала «Израиль-плюс» и радиостанции РЭКА как политический комментатор.

Распрощавшись с Толей Гершензоном, который собрался переезжать в Тель-Авив, где обосновались его родители — в самом центре города, на улице Нахлат-Биньямин, рядом с рынком Кармель, — и другими ребятами, я собрал вещи и уехал в столицу, где так стремился жить и куда попал не иначе как по воле Провидения.

* * *

Центр абсорбции «Эцион» располагался в двухэтажном доме, стоявшем в глубине сада, в одном из самых живописных иерусалимских районов — Бака, на улице, названной в честь одного из родоначальников израильских колен со странным для русского слуха именем Гад. Директором центра была тогда Женя Гильад, одна из первых в СССР в шестидесятые годы сионисток, её помощницей — Женя Краузе. Первую, которая была выше второй, мы звали Женя-большая, вторую, соответственно, — Женя-маленькая. Я получил койку в комнате на четверых и продолжил, как и в Хайфе, заниматься своими делами вместо изучения иврита. Прежде всего я посетил рекламное бюро в центре города, представлявшее, в частности, ежедневные газеты на иврите, и дал объявление в «Маарив»:

«Борис Камянов, новый репатриант из СССР, сын Голды Бурштейн из Кишинева и Ицхака Камянова, разыскивает семью Розы Вайнштейн (в девичестве Бурштейн) и кибуцников Якова и Сару Эшель, посетивших Москву в 1965 году. Обращаться по адресу: центр абсорбции „Эцион“, ул. Гад, 8, Иерусалим».

Между тем я получил из Министерства абсорбции ответ на мою просьбу о субсидировании издания книги стихов, и этот ответ был отрицательным. Рукопись была передана на отзыв двум так называемым «лекторам», дружно эту просьбу отклонившим.

Вот одна из рецензий, добытых мной в результате сложной операции криминального характера (на руки их не выдавали и не показывали) в буквальном переводе с иврита.

«Рукопись, представленная Борисом Камяновым, не дает представления о подлинном облике книги (?! — Б. К.). Стихотворения, предназначенные для публикации в книге, выбраны без определенной последовательности и небрежно.

Рукопись не имеет эмоционального обобщающего направления. Автор, как видно понимая это, не дал название своему сборнику и даже не приложил список и порядок расположения стихотворений. Как оговорено, стихотворения были написаны в 1966–1976 гг. 10 лет в жизни поэта — очень продолжительный отрезок времени; он вполне может свидетельствовать о развитии таланта или его упадке. К большому сожалению, единственная тематическая связь между стихотворениями, написанными за последние 5 лет, основана на описании московских кабаков. Тема пьянства и похмелья отображалась в русской поэзии и близка советскому читателю. Но вызывает сомнение, сможет ли израильский читатель оценить «кабацкий цикл» Бориса Камянова, несмотря на то, что стихи, несомненно, написаны рукой профессионала. Поданная рукопись начинается поэмой «От чувства опьянения»* (имеется в виду тяжелое болезненное состояние алкоголика после неумеренной дозы). От 60 до 70 из всего количества стихотворений изображают пьянство в той или иной форме, а также все душевные страдания, связанные с этим. Принимая во внимание существование трудностей, связанных с переводом на иврит стихотворений, кишащих словами и выражениями из жаргона братии русских пьяниц и алкоголиков, предвидится потеря их печального характера. Очень жаль, что автор не включил в свою книгу стихотворения, написанные после прибытия в Израиль. Еврейской темы, которая является основой русско-еврейской литературы, у него абсолютно не существует. Нельзя представить себе, что эта тема существует, из строчек

О, Русь моя, родимый мой барак!
Прости меня, неверного еврея!

* * *

Я весел, как на виселице труп,
Я гол, как освежеванная туша...

* Так господин или госпожа лектор переводит название поэмы «Похмелье».

Такие чувства, как эти, испытывает поэт, окончательно решивший возвратиться на свою родину — в Израиль... Вместе с этим, стихотворения 1966–1970 гг., несмотря на то, что они менее профессиональны, отображают вдохновение (! — Б. К.) и более трогательны. Они, за исключением стихотворений русского поэта-алкоголика, могут послужить основой небольшого сборника стихотворений Бориса Камянова».

Подпись под этим документом идентифицировать не удалось. По слухам, его автором была одна из первых отпущенных в Израиль прибалтийских сионисток, вступившая в правящую партию и допущенная впоследствии в номенклатуру.

Что же касается слова «похмелье», то с его переводом на святой язык и впрямь большая проблема. Академия языка иврит предложила слово «хамармóрет» (от «хемáр» — вино), но оно не прижилось. Кто-то из лингвистов порекомендовал попросту ивритизировать русское слово — получилось «пахмéлет» (опохмелиться — «лгит-пахмéль»), но и это слово прописку в языке пока не получило. Так что израильтяне используют при необходимости английское слово «хэнговер», но автор приведенной рецензии, похоже, и его не знал.

А вот вторая рецензия.

«Б. Камянов представил несколько десятков стихотворений, отпечатанных на машинке, в большинстве своем написанных в Советском Союзе, в меньшем количестве — уже в Израиле (ни одного стихотворения в Израиле я еще в то время не написал. — Б. К.). С точки зрения тематики есть в стихотворениях настроения человека, страдающего от ненормальности среды, в большинстве случаев как индивидуум, а иногда и как еврей. Настроение, в общем, — горько-саркастическое, ироническое. С точки зрения набора выразительных средств в этих стихах — огромное количество метафор и образов, взятых из повседневного русско-еврейского языкового богатства. Прозаичность стихов — один из путей русской классической поэзии и большинства современной советской.

Техника хороша и придает гармонию и чистоту его поэзии. непонятно, почему он не представил свои сборники, которые, очевидно, были изданы в России (привет рецензенту от Сергея Суши и иже с ним. — Б. К.), или фотокопии газетных публикаций.

Лектор — Бертини».

Я взял отвергнутую рукопись и поехал в Еврейский университет, в иерусалимский район Гиват-Рам. Найдя там кафедру славистики, я зашел в кабинет профессора Дмитрия Сегала, который тогда ею

заведовал, представился и попросил его ознакомиться со стихами и написать краткую рецензию на них. Через несколько дней я его рецензию получил и отнес в Министерство абсорбции. Тамошним чиновникам было трудно отмахнуться от добрых слов в мой адрес профессора-слависта, и было принято поистине соломоново решение: деньги на издание книги мне выделить, но не в качестве подарка, а в виде ссуды, которую мне придется возвращать. Я решил больше не качать права, согласился взять ссуду и отнес рукопись в издательство «Став», хозяевами которого были религиозные ребята из России — Зяма Олидорт и Белла Вольфман.

* * *

Одним из трех моих соседей по комнате в «Эционе» был Леня Фельдман, большой сионист из Кишинева. Этот высокий молодой парень был влюблен в шахматы, но безответно. Я, как уже писал, был неважным шахматистом, но он играл еще слабее меня, однако постоянно предлагал мне померяться силами, хотя, как правило, проигрывал. Остальные ребята играли еще хуже нас, и честлюбивый Леня предложил организовать турнир, рассчитывая стать его победителем. Жребий свел нас в первом же круге, он проиграл — и отказался играть с другими соперниками, понимая, что первого места ему не видать, а вторым он быть не желал. Так турнир и развалился. По окончании занятий в ульпане он почти сразу же эмигрировал в Америку, и через несколько лет я случайно узнал, что он стал там то ли реформистским, то ли консервативным рабаем.

На второй или третий день после начала занятий Леня ворвался в нашу комнату и подбежал ко мне.

— Ты знаешь, кто поселился рядом с нами? — зашептал он, округлив от страха глаза. — Самый опасный в Кишиневе хулиган, Мишка-Морячок! Никогда бы не подумал, что он в Израиль подается!

«Опасный хулиган» оказался невысоким кудлатым крепышом, с которым мы впоследствии много лет дружили семьями, добрым и совершенно не агрессивным парнем. Миша Шварцман вскоре подал документы в ЦИМ — израильскую компанию морского судоходства, был принят на работу третьим помощником капитана торгового судна, поселился в городке Кармизле неподалеку от Хайфы, женился на Рути, очаровательной уроженке страны, и произвел на свет двух замечательных дочек. Сегодня он — руководитель израильского отделения Международного профсоюза работников морского и воздушного транспорта, и в две тысячи десятом году я увидел Мишу, с которым мы давно потеряли связь, в передаче русскоязычного канала израильского телевидения «Израиль-плюс», где его интервьюировали в связи с забастовкой портовиков.

Так сложились судьбы двух кишиневских евреев — пламенного сиониста и знаменитого хулигана...

Всего несколько дней провели в нашем центре абсорбции братья-близнецы Аркадий и Леонид Вайнманы, бывшие харьковчане, узники Сиона — так называют тех, кто получил в СССР по сфабрикованному обвинению тюремный или лагерный срок за желание уехать в Израиль. Эти два коренастых парня лет двадцати пяти были первыми пострадавшими за сионистскую идею, с которыми я познакомился, и внушали мне поначалу благоговейное почтение, хотя блатные замашки и постоянное сквернословие как-то не вязались с их благородным статусом. Очень быстро выяснилось, что они примитивные жлобы и хамы, задиравшие ребят, приехавших из Америки и европейских стран, постоянно провоцировали скандалы и терпеть их в среде нормальных людей было невозможно. Узнав, что они избили студента из США, я пошел к Жене-большой и попросил забрать их от нас, и как можно быстрее. Она и сама понимала, что больше так продолжаться не может, организовала им каким-то образом съемную квартиру, и с тех пор мы их не видели. Как этим братцам, явным уголовникам, удалось получить статус узников Сиона, для меня до сих пор загадка. Прожив в Израиле совсем недолго, они уехали из страны и объявились то ли в Ливане, то ли в Сирии в качестве борцов с сионизмом. Дальнейшая их судьба покрыта для меня, как говаривал дед Щукарь, неизвестным мраком.

* * *

Однажды субботним утром, когда я, лежа в постели, читал книгу, дверь нашей комнаты открылась и в комнату вошли два пожилых человека, один — невысокий и худощавый, другой — крупный и полный.

— Ты ведь Борис Камянов? — спросил меня по-русски, но с сильным акцентом тот, что пониже.

Я пригляделся к нему и узнал:

— Дядя Яков! — это был тот самый двоюродный брат папы, с которым мы встречались в Москве у Вити одиннадцать лет назад, в шестьдесят пятом году. «Маарив» сработал!

— Собирайся, поедешь с нами в кибуц, — сказал второй дядя, Цви.

По дороге в кибуц Хацор-Ашдод они рассказывали мне о своей большой разветвленной семье в Израиле. Всего их было семь братьев и сестер, сыновей Исера, родного брата моей бабушки со стороны папы, Фреды-Меры. В Белоруссии они носили фамилию Маркман, в Израиле же ее сохранил только самый младший из братьев — Аншель, живший, как и его сестры Хая и Шошана, в кибуце Аелет-ѓа-Шахар в Восточной Галилее. Яков и Цви, а так-

же тельавивец Мендель и хайфчанин Цадок взяли себе фамилию Эшель. Забегая вперед, скажу, что Яков возил меня к галилейским родственникам, которые приняли меня достаточно прохладно, после чего я их больше не видел, с Цадоком я вообще толком так и не познакомился, а вот Яков, Мендель и Цви оказались людьми теплыми, часто приглашали меня и сами бывали у нас в Иерусалиме, когда я вновь стал семейным человеком. Они любили моего папу и часто вспоминали его и других своих двоюродных братьев, сыновей Якова Камянова.

В тот день я впервые побывал в кибуце, пообедал с Яковом, Цви и их женами Сарой и Раей в местной столовой, после чего мы все впятером пришли в уютный домик Якова и Сары, и родственники стали расспрашивать меня о планах на будущее. Узнав о том, что я не намерен поселиться в кибуце, они огорчились, а осознав, что я убежденный антисоветчик, расстроились еще больше. Все они были сторонниками крайне левой социалистической партии Маппам, в течение многих лет после смерти Сталина оставались горячими его поклонниками и лишь в начале семидесятых снимали его портреты со стен. Эшли познакомили меня с бывшим узником Сиона Барухом Шилькротом и его женой Асей, моими ровесниками, жившими в другом кибуце, но таком же левом. Они, очевидно, рассчитывали, что те устроят мне промывку мозгов и убедят в необходимости участвовать в построении социализма в Израиле, но умные Барух и Ася сразу поняли, с кем имеют дело, и тратить на меня время не стали.

С моей «правизной» Эшли хоть и с трудом, но смирились и продолжали со мной общаться, однако их ожидало еще одно испытание, покруче; его они не выдержали и поставили на мне большой маген-Давид. Дело в том, что в восемьдесят втором году я начал постепенно соблюдать заповеди Торы и надел кипу (ниже я расскажу о своем пути к иудаизму подробно). Родственники поначалу об этом не знали. Однажды мне позвонил Яков и сообщил о смерти Цви. Я, естественно, собрался и поехал в кибуц на похороны. Увидев меня в кипе и узнав, что я посещаю занятия в ешиве, Яков был потрясен.

— Это в голове не укладывается: сын Исаака Камянова ударился в религию!

Когда тело покойного предали земле, собравшиеся, среди которых были два сына Цви и Раи, начали расходиться, и я спросил дядю:

— А что, разве сыновья Цви не скажут по нему кадиш?

Яков жестом попросил меня наклониться к нему и шепнул в самое ухо:

— Боря, никогда не произноси это слово в нашем присутствии.

С тех пор звонки из кибуца Хацор-Ашдод прекратились, и я больше никогда не видел ни Якова, ни Сару, ни Раю, ни их детей. Мендель и его жена Сара, не такие идеологически упертые, как остальные, продолжали приглашать меня к себе в Тель-Авив, но с их смертью и эта ниточка, связывавшая меня с семьей Маркманов-Эшелей, оборвалась.

* * *

Между тем у меня начали появляться новые друзья — прежде всего иерусалимцы, но не только.

Вскоре после переезда в «Эцион» я созвонился слевой Меламидом, зятем Федоровых, и побывал у него в гостях. Жил он с женой Верой и падчерицей Ниной в северном «спальном» районе Иерусалима Неве-Яаков, где через год поселился и я. В воспоминаниях о российском периоде моей жизни я писал о нашей единственной встрече слевой и Верой, вскоре после которой они уехали в Израиль, года на два раньше меня. В Иерусалиме мы слевой сдружились и часто общались. Он показывал мне город, в котором я сразу же после приезда стал чувствовать себя гораздо комфортней, чем в Москве. Больше всего мы любили ходить по живописнейшим дворикам прилегающего к центру района Меа-Шеарим, населенного ультраортодоксами. Я приобрел брюки и ходил туда только в них: увидев меня в шортах, стражи заповеданной евреям скромности могли и поколотить. Время от времени мы садились на скамейку, доставали из сумки бутылку бренди и одноразовые стаканы и выпивали на виду у неодобрительно поглядывавших на нас прохожих в капотах и штраймлах — меховых хасидских шапках.

Семейная жизнь улевой с Верой не сложилась, и когда они окончательно решили развестись, он перебрался ко мне в «Эцион», где мне к тому времени удалось добиться у двух Жень отдельной комнаты — помог статус члена Союза писателей.

Перед осенними праздниками того же семьдесят шестого года Женя-большая сказала мне:

— Нам позвонили из Эйлата, из гостиницы «Ларом», им нужны уборщики на пару недель. Хочешь поехать? Иврит ты все равно не учишь, а так и подзаработаешь, и в морекупаешься, и Эйлатпосмотришь.

Я, конечно, согласился, позвонил в «Ларом», и вскоре мы слевой, который в то время был безработным, уже катили в автобусе в этот южный курортный город.

Мы получили с ним комнату на двоих, днем работали, а по вечерам ходили по городу и купались в теплой воде Эйлатского залива. Поездку нашу можно было бы считать вполне удачной, если бы

не происшествие с Левой, который, входя в море босиком в наш последний день в Эйлате, наступил на морского ежа, чьи иглы ядовиты. По возвращении в Иерусалим он еще долго страдал от боли в распухшей ноге и ходил с трудом.



Слева направо:
Лев Мелаид, автор, Михаил Генделев

После развода Лева каким-то образом удалось получить однокомнатную государственную квартиру в том же Неве-Яакове, и с семьдесят седьмого по восьмидесятый год мы жили в одном доме. Мой влюбчивый друг недолго оставался холостым и вскоре женился на рыжей молодухе, родившей ему дочь Эстер. Этот брак тоже не продлился долго, и женился Лева по-настоящему удачно только в середине восьмидесятых. Сегодня у них с женой Мариной Концевой два взрослых сына, Миша и Давид, причем при обрезании старшего Лева пригласил меня исполнить почетную роль сандака — того, кто держит младенца на коленях во время этой богоугодной операции.

Что же касается привычки Мелаида оформлять свои отношения с каждой понравившейся ему дамой, то наш с ним друг Миша Генделев, замечательный поэт, отразил этот факт в эпиграмме в форме эпитафии — к этому жанру он обращался не раз:

Могилы сей беги, девица, —
Он встанет на тебе жениться.

Я сразу же ответил Мише в том же духе:

Под камнем сим живым зарыт поэт.
Он жертвой стал литературной мафии.
И поделом: глупей занятия нет,
Чем на живых печатать эпитафии.

Тем не менее Генделев продолжал писать произведения подобного рода, и его не остановила даже смерть нашей общей знакомой, молодой женщины с нулевым размером бюста, которой он чуть ли не за день до этого посвятил такое двестишье.

Под сей могильною плитой
Лежит плита могильней той.

* * *

В январе семьдесят седьмого года центр абсорбции закрыли перед новым заездом, обитатели его разбрелись по всей стране, и Леву взял к себе жить его товарищ, литературовед и переводчик Толя Якобсон, с которым я вскоре тоже познакомился и стал общаться. Что же касается меня, то моя тогдашняя подруга Мирьям, репатриантка из Америки, сняла квартиру рядом с «Эционом», и я поселился у нее. О нашей совместной жизни я написал стихотворение.

Любовью и лаской к себе заманя,
Держала хозяйка кота и меня.

В уютной квартирке мы жили втроем,
Хозяйке служили мы вместе с котом.

Кот кушал маслины и слушал стихи,
Хозяйка со мной совершала грехи.

Была нам постелью тройная тахта —
Чуть раз по ошибке не трахнул кота...

Мы весело жили: бездомный поэт
Готовил салаты для всех на обед,

Котенок жуков научился ловить,
Хозяйка себя предлагала любить...

Мы жили как в сказке: ходили в кино.
Мы жили как в сказке: мы пили вино.

Мы жили как в сказке: мы ели мацу...
Как грустно, что сказки подходят к концу!

Как грустно, что снова бездомен поэт,
Что больше с котом не разделит обед,

Что кот — сирота, что хозяйка — одна,
Что смотрит печально она из окна,

Что высохли в доме живые цветы,
Что в мире подлунном поэты — коты...

Жениться, к огорчению Мирьям, я не собирался и подал в Министерство абсорбции заявление о предоставлении мне государственной квартиры. С месяц мы прожили вместе — и разошлись.

По ночам я работал сторожем в кампусе Еврейского университета на горе Скопус, после работы наносил обязательный визит в министерство, чтобы напомнить там о своем существовании в качестве бездомного, а днем отсыпался на скамейке в скверике неподалеку, подложив под голову свернутый «дубон» (на иврите «медвежонок») — израильский аналог российской телогрейки.

* * *

Перед моим отъездом в Израиль Игорь Городецкий дал мне адрес своих бывших соседей по Теплому Стану, где он купил кооператив на доходы от Асиной песни, и попросил навестить их и передать привет. Володя и Фира Рихтер жили уже несколько лет в Неве-Яакове, большинство обитателей которого составляли выходцы из СССР, и я поехал к ним выполнять просьбу Игоря.

Оказавшись на месте, я позвонил и услышал из глубины квартиры женский голос:

— Миша?

— Я не Миша, а Боря, — отозвался я.

Дверь квартиры открылась, и смеющаяся хозяйка пригласила меня войти.

— Я сказала не «Миша», а «ми шам?» — «кто там?». Вы совсем не знаете иврит? — спросила она.

— Да я недавно приехал, еще и учить язык не начал. Вот, привез вам приветы от Городецких.

С Рихтерами мы быстро сдружились. У физика-теоретика Володи и инженера Фиры были двое детей, Барух и Анат, а через несколько лет после моего приезда родился Рамик, на обрезании которого я тоже был сандаком, как и у Меламидов. Впоследствии я выполняю эту почетную миссию еще раз, когда родится первенец у Толи Гершензона. Вскоре мы с Рихтерами стали соседями по кварталу — на пять лет.

* * *

Временным жителем Неве-Яакова я оказался, воспользовавшись приглашением Толи Якобсона пожить у него. Одну комнату в своей двухкомнатной квартире он предоставил Леве Меламиду, который к тому времени еще не получил государственное жилье, и в этой комнате была еще одна кровать, заменившая мне скамейку в городском сквере — та весна оказалась дождливой, и после работы мне негде было поспать.

КОЛОСКИ ПАМ'ЯТИ

Всю жизнь я пишу одну книгу вне зависимости от жанра. <...> Я прекрасно понимаю, что не смогу эту книгу закончить. Писать ее я перестану только тогда, когда завершится моя жизнь.

Г. Б. Федоров, «Брусчатка»

ВСТУПЛЕНИЕ

Закончил я книгу воспоминаний «По собственным следам», и, казалось бы, на смену постоянной сосредоточенности на затянувшейся работе должен был прийти душевный покой, как это всегда бывает по завершении труда, требовавшего полной самоотдачи. Но не тут-то было — память не желала отключаться! И бессонными стариковскими ночами, и в дневные часы, заполненные повседневными делами, она подбрасывала и подбрасывает мне выплывающие из прошлого эпизод за эпизодом, не вошедшие в книгу, но так и норовящие все же вломиться в нее и занять там свое место.

Однако, ставя в мемуарах последнюю точку, я предвидел такое развитие событий и дал себе слово ничего больше в них не добавлять — иначе этому конца не будет. С другой стороны, многое в моих запоздалых воспоминаниях мне кажется интересным, порой забавным, а иногда и поучительным, и пренебрегать ими жалко — они так и просятся на бумагу. Тогда я решил записывать их и кое-какие свои размышления, создав для этого файл под названием «Колоски»: мне вспомнилась библейская Рут, прабабка царя Давида, которая ходила в поле за жнецами, подбирая упавшие колосья, и так кормилась со своей свекровью Наоми. В полуголодные советские времена на поля выгоняли с той же целью деревенских пионеров — пополнять закрома нищей родины.

Последовал их примеру и я: вторично пошел по собственным следам, подбирая колосок за колоском.

ДИАЛОГ

Один эпизод из моего младенчества мама особенно любила вспоминать.

Обнимая меня, только-только начавшего говорить, она восклицала:

- Боренька!
- А? — откликался я.
- Маленький!
- А?
- Сладенький!
- А?
- Люблю тебя!
- Люби мена!

ЦЕЛЛУЛОИДНЫЙ ЛЕБЕДЬ

В самом начале пятидесятых годов, когда я был дошкольником, а потом школьником младших классов, игрушек у меня почти не было. Послевоенная промышленность еще не раскачалась, все было дефицитом, и дети из небогатых семей довольствовались тем, что старьевщики приносили во дворы для обмена: набитые опилками шарики на резинках, «тещины языки» и пищалки «уйди-уйди». Оловянные пугачи, стрелявшие пробкой, привязанной к дулу веревочкой, были предметом гордости их обладателей. Дети, у которых родители были людьми состоятельными, изредка приглашали к себе особо приближенных сверстников, и те шли к ним как в Парк культуры на аттракционы. Там можно было поиграть в настольный футбол, собирать всякую всячину из деталей примитивных по тем временам, но недостижимых для большинства из нас «конструкторов», а кто-то из моих приятелей, кажется Витя Юмашев, сын дипломата, был обладателем электрической железной дороги, привезенной из-за границы.

Когда мне, семилетнему, в первый раз прооперировали ногу, я провел в больнице несколько месяцев. В детском отделении, где я лежал, была небольшая библиотечка, и все время, свободное от обходов и процедур, я глотал книгу за книгой, благо научился читать еще в четырехлетнем возрасте. Но как всякому нормальному ребенку мне хотелось еще и играть, а игрушек в больнице, понятно, не было.

Однажды родители принесли мне целлулоидного лебедя, умежавшегося в моей руке. Когда они ушли, я прижал к себе игрушку и заплакал. Мне было невыразимо грустно, но осознать причину своих слез я, маленький, еще не мог. Теперь-то я понимаю, в чем было дело: мне было жалко папу и маму, которые так хотели меня порадовать каким-то особенным подарком, но единственное, что им удалось купить, это простенький целлулоидный лебедь. Я полюбил его и подолгу играл с ним, пуская в плавание по волнам озера, которым представлялось мне укрывавшее меня одеяло.

После возвращения из больницы меня стали навещать друзья. Часто спускался ко мне с четвертого этажа мой сосед по подъезду и одноклассник Юра Кошарский, и мы играли с ним на просторном подоконнике в нашей столовой в ушки — пуговицы, подражая Пете и Гаврику из катаевской повести «Белеет парус одинокий». Правил этой игры мы не знали и изобрели собственные. Другая игра, распространенная среди младшеклассников, называлась «коробок» и заключалась в подбрасывании щелчком большого пальца спичечного коробка, лежавшего на краю стола или подоконника и немного выступавшего за его пределы. Если коробок ложился

плашмя, ты получал пять очков, если на боковую сторону — десять, если на торец — двадцать пять.

...Когда я сегодня захожу в магазин игрушек, чтобы купить подарки внукам и у меня разбегаются глаза от богатейшего выбора замечательнейших товаров для всех возрастов и на любой вкус, я вспоминаю целлулоидного лебедя моего детства, плывущего по больничному одеялу.

БИТЬ ПЕРВЫМ

В детстве был у меня приятель, Славка Рыжков, живший через переулок, во дворе гастронома «Морфлот». Однажды он пришел ко мне, и мы стали играть во дворе, куда выходило окно нашей кухни. По ходу игры мы поссорились и встали, набывчившись, друг против друга.

— Стыкнемся, — предложил он.

Я посмотрел на его вздернутый нос, представил себе, как после моего удара из него хлынет кровь, и сказал ему:

— Если я тебя ударю, тебе будет очень больно, из носа пойдет кровь, так что, может, не надо?

Не говоря ни слова, Славка размахнулся и ударил в нос меня. Размазывая по лицу кровавые сопли, я заревел. Мне было больно и обидно: я его пожалел, а он меня — нет.

Услышав мой рев, в окно выглянула Валя, жена моего брата, и крикнула в форточку:

— Немедленно иди домой!

Дома она остановила мне кровь, умыла, и я, продолжая рыдать, стал жаловаться ей на Славкино вероломство. Валя, чье детство прошло в деревне, смотрела на меня брезгливо и осуждающе и сказала:

— Никогда не угрожай, всегда бей первым.

Что я и делал с тех пор всю жизнь в подобных случаях.

ПЕРВЫЕ СОЧИНЕННЫЕ МНОЮ СТИХИ

Первые стихи, которые я не стыдился читать на поэтических вечерах, но никогда не пытался их опубликовать, поскольку они были совершенно «непроходимыми», я написал в шестьдесят первом году. Одно я запомнил целиком, из другого — только начало и конец. Самое раннее я сочинил в мае, когда сразу же после полета Гагарина распространились слухи о том, что до него в космос летал другой человек, но он погиб при посадке и власти наложили запрет на публикацию сообщений об этом «первом блине» советской космической программы.

ПЕРВОМУ КОСМОНАВТУ

Включив сирену, грубо, по-мужицки
Арбатскую расталкивая ночь,
Несется санитарная машина,
Отшвыривая тени чьих-то ног.

Она спешит, распарывая полночь
Горячим светом воспаленных фар.
А в кузове, земною болью полон,
Какой-то неудачливый Икар.

Теперь ты понял, бедный мой безумец.
Как жалок ты, как слаб ты и как мал?
Ты рвался в космос, дерзкий и безусый?
Ну что ж, тебя он принял — и сломал.

Губа твоя закушена, распухшая,
В твоём кармане — толстый томик Пушкина...
Романтик, опьяненный быстротой,
Ты — мальчик, побежденный пустотой!

Твои часы последние безрадостны.
Склонились над тобою доктора...
— Сестра, по этому пошлите адресу...
Прошу вас... поскорее... телегра...

Ты не узнаешь, что, спустя немного,
Так же, как ты, спугнув воронье «кар-р!»,
Тобою проторенною дорогой
Пройдет другой, удачливый Икар.

Назад вернется, счастлив и напыщен,
Над головой его повесят нимб...
А о тебе ни строчки не напишут,
Тебя не вспомнят словом ни одним.

...Несутся санитарные машины,
А в хронике — космические кадры...
Я славлю вас, безусые мужчины!
Вас, неудавшиеся икары!

Второе было написано первого ноября, на следующий день после выноса останков Сталина из мавзолея и захоронения их у стены Кремля. Название его в моей памяти не сохранилось.

Мы сегодня смелей и свободней стали:
Из мавзолея убрали Сталина...

<...>
Хоть меня еще время не старит —
После войн я родился на свет, —
Я тебя ненавижу, Сталин,
С давних тех, предвоенных лет.

Я — не ворон, на труп летящий.
Сгинуло прошлое, теперь — дыши!
Но во имя будущего
В настоящем
Рвутся проклятия из души.

Пройдет еще несколько лет, и мой бедный запуганный отец, убедившись в том, что возврат к сталинизму маловероятен, расскажет мне о том, что два его брата, старые большевики, были расстреляны в годы Большого Террора, а отец умер в тюремной больнице...

ПЕРВАЯ СОЧИНЕННАЯ МНОЮ ПЕСНЯ

За всю свою жизнь я написал штук пять-шесть ернических песенок (не считая текстов двух серьезных стихотворений — «Симхестойре» и «Провинциальный городок», которые сделали песнями соответственно Леонид Усвятцов и Дмитрий Бикчентаев, исполнявшие их). Некоторые благополучно забылись, две — «Гимн сифилитиков» и «Рыбный день» — я привожу в своих мемуарах, а первую я сочинил, когда мне было лет семнадцать.

Поводом к этому стала сценка, которую я наблюдал, проходя по улице Грицевец (ныне Большой Знаменский переулок) неподалеку от Волхонки, мимо дома, где находилось шестое отделение милиции. В подвале этого здания была КПЗ — камера предварительного заключения, зарешеченное окошко которой выходило на улицу над самым тротуаром. У этого окошка стояла женщина с авоськой. Она вынула из нее бумажный пакет с сосисками, просунула одну сквозь решетку, и кто-то — должно быть, ее муж, — схватив ее, вытянул из пакета довольно длинную цепочку этих вкусных и питательных колбасных изделий.

В ту пору одним из самых популярных в СССР шлягеров была песня Аркадия Островского на слова Льва Ошанина «Я тебя подожду», которую исполняла Майя Кристалинская. Начиналась она следующим куплетом:

Ты глядел на меня, ты искал меня всюду,
Я, бывало, бегу ото всех, твои взгляды храня.
А теперь тебя нет, тебя нет почему-то,
Я хочу, чтоб ты был, чтобы так же глядел на меня.

После этого следовал припев:

А за окном то дождь, то снег,
И спать пора, и никак не уснуть.
Все тот же двор, все тот же смех,
И лишь тебя не хватает чуть-чуть.

Поскольку музыкальных способностей я лишен начисто, для своей немудреной песенки я выбрал мелодию этого шлягера.

ПЕСНЯ СОВЕТСКОЙ ЖЕНЫ

Колотил ты меня, называл меня сукой,
Я, бывало, бегу, от подруг синяки хороня...
А вчера ты ушел. Ты ушел почему-то,
Предварительно ты хорошенько отпиздил меня.

Припев:

А за окном то дождь, то снег,
И спать пора, и никак не уснуть.
Все тот же двор, все тот же смех,
Лишь пиздюлей не хватает чуть-чуть.

Раньше я на тебя доносила в участок,
Если ты вдруг по пьянке носился за мной с молотком,
А потом в КПЗ приходила я часто
И сосиски тебе сквозь решетку совала тайком.

Припев.

Возвратись, дорогой! Возвратись, мой хороший!
Без тебя моя жизнь вся под горку пошла кувырком.
Возвратись, дорогой! Дай опять мне по роже
И опять, как и прежде, побегай за мной с молотком!

БЕЗОТКАЗНЫЙ ПРИЕМ

В годы нашей молодости все мы постоянно переезжали с квартиры на квартиру: женились, разводились, разменивались, съезжались, разъезжались... Не было исключением и один из самых близких моих друзей, часто менявший жен и, соответственно, место жительства. По причинам, которые станут читателям понятны, он просил меня не раскрывать его имя, и поэтому я назову его К. Не менее десятка московских коммуналок могли похвастаться тем, что он жил в них в шестидесятых-семидесятых годах. Не успевали мы привыкнуть навещать нашего друга по новому адресу, как в его жизни наступали очередные серьезные изменения и К. объявлял всеобщий сбор для переезда на новую квартиру.

В нагруженном немудреной мебелью и домашним скарбом грузовике К. садился рядом с водителем, а мы, его товарищи, устраивались в кузове. Приехав на место, К. выходил из машины и шел в дом. В руке его всегда была одна и та же увесистая чугунная сковородка.

Пока остальные ребята занимались разгрузкой, я брал на спину холодильник и поднимался в квартиру вслед за К. В кухне он помогал мне спустить мою ношу на пол и указывал, куда следовало холодильник поставить. Во всех случаях это было место совершенно для него не подходящее, в котором он мешал бы всем обитателям коммуналки. В этот момент одна из новых соседок К., собравшихся в коридоре, вбегала в кухню и начинала громко возмущаться:

— Да что это за безобразие! Еще не успел поселиться, а уже свои порядки устанавливает, самовольничает!

Готовый к привычному развитию сюжета К. просил меня выйти, закрывал изнутри кухонную дверь и произносил, поигрывая сковородкой, одну и ту же ставшую для него привычной тираду:

— А теперь, стерва, слушай меня. Мне холодильник в этом месте не нужен, я поставил его тут только для того, чтобы выяснить, кто в квартире самая большая гадина. Сейчас я узнал, что это ты. Так вот: холодильник будет стоять там, где никому не мешает, но если ты будешь мне мешать жить, то я стану закрывать тебя здесь на кухне, и бить по жопе вот этой сковородкой. Следов не останется, но будет больно и обидно. Поняла?

Во всех без исключения случаях эта самая шустрая соседка становилась лучшим другом К. из всех жильцов коммуналки. Имел от этого свой профит и я: когда К., уезжая в командировку, оставлял мне ключи и я, бездомный, приводил в его комнату девушек, это соседка всегда первой здоровалась с нами и приветливо улыбалась.

НЕВЕРОЯТНАЯ БЫЛЬ

Свойство Всевышнего, которое у нас, людей, называется чувством юмора, проявилось и в следующей ситуации.

Где это произошло, мне неизвестно: то ли в московском аэропорту, то ли в пограничном Чопе в начале семидесятых, — но я верю в истинность этой истории, ибо она так красива, что просто не может быть выдумкой.

Два брата решили эмигрировать из совдепии. Один из них получил разрешение на выезд. В семье хранился дорожный семейный бриллиант, который было решено вывезти на Запад, чтобы продать его там, а вырученные деньги потратить на устройство в новой стране. Братья обратились к знакомому сапожнику, и тот спрятал камень в каблук ботинка эмигранта.

Утром в день то ли вылета, то ли выезда за пределы СССР, братья присели на дорожку, и тот, кто уезжал, сказал остающемуся:

— Ты знаешь, что-то нет у меня доверия к этому сапожнику. Он вполне может быть стукачом. Давай поменяемся ботинками, благо у нас один размер, а если меня пропустят на таможне без проблем, ты вывезешь его тем же способом, когда получишь разрешение.

Так они и поступили.

На таможне от эмигранта сразу же потребовали снять обувь, в лохмотья раскурочили оба каблука, но ничего, разумеется, в них не обнаружили.

— Что же мне теперь — босиком уезжать, что ли? — возмутился он.

Таможенники посмотрели друг на друга.

— Вас кто-нибудь провожает? — спросил один из них.

— Брат, — ответил тот.

— Так идите и поменяйтесь с ним обувью.

Махнулся отъезжант с братом ботинками и, не веря своему счастью, покинул пределы родины.

Не устаю радоваться шуткам Всевышнего и наслаждаться ими!

КАК Я ОГРАБИЛ БАНК

На третий год моего пребывания в Израиле моя бывшая жена Нина, с которой я к тому времени был в разводе пять лет, сообщила мне в письме о том, что готова репатриироваться с нашей общей дочкой, девятилетней Анечкой, если мы возобновим наш супружеский союз. В отношении продолжительности этого союза у меня были серьезные сомнения, оказавшиеся впоследствии небезосновательными, но дочку надо было выцарапать из СССР любым способом, и я согласился.

К тому времени я получил крохотную однокомнатную квартиру в северном иерусалимском районе Неве-Яаков, и жить нам предстояло некоторое время именно в ней, поскольку «двушка», которую мне удалось выбить для Нины и Анечки к их приезду, находилась в только что построенном доме, еще не сданном в эксплуатацию.

На следующий день после их прибытия — а это был семьдесят девятый год — я повез обеих показывать город. Начали мы с центра, и первое, что я сделал, — подвел их к отделению банка, в котором у меня был счет, сделал им знак подойти ко мне поближе и, указывая на каспомат, прошептал:

— Я недавно узнал секретный код, с помощью которого можно ограбить банк, и сейчас мы с вами разбогатеем.

— Ой, папочка, миленький, не надо! — зарыдала дочка и схватила меня за руку. На второй руке повисла Нина, причитавшая:

— Ну, пожалуйста, не надо, не надо! Мы как-нибудь проживем, я скоро работать пойду!..

Высвободившись из их цепких рук, я подошел к каспомату и с пачкой новеньких банкнот в руках вернулся к трепетавшим от страха Анечке и Нине. Продолжать разыгрывать их было бы жестоко, и я объяснил ситуацию вчерашним москвичкам, приехавшим из страны, где о банкоматах народ еще не слышал.

Прошло несколько недель, и наша десятилетняя дочка гуляла на свадьбе собственных родителей...

ПОБОЛЬШЕ БЫ ТАКИХ ПОКУПАТЕЛЕЙ

В конце семидесятых и в восьмидесятых годах в иерусалимском Доме журналиста «Бейт-Агрон» раз в неделю крутили советские фильмы на русском языке. Наша писательская братия приходила перед началом сеансов в фойе, раскладывала на столах свои книжки, и вокруг нас собирались и толпились до самого звонка потенциальные покупатели.

Когда была опубликована первая книга моих стихотворений, «Птица-правда», я стал приносить ее в «Бейт-Агрон». В один из вечеров ее приобрел, среди прочих, немолодой человек, не пропускавший ни одного фильма. Через неделю я увидел его снова. Он подошел к моему столу и вынул из кармана деньги.

— Вы же купили ее у меня неделю назад, — удивился я.

— Купил, прочел, и она мне так понравилась, что я хочу еще одну, — сказал он.

КАК Я СТАЛ УГОЛОВНИКОМ

В своих воспоминаниях я писал о Натане Файнгольде, с которым дружил много лет. У Натана были два брата, Гриша и Сема; с Гришей я тоже приятельствовал и часто общался. Работал он в каком-то кибуце в районе Мертвого моря, в мастерской, где, среди прочего, был аппарат для воронения стали.

Дело было году в восьмидесятом. Года за три до того, сразу после завершения курса молодого бойца, я купил себе свое первое личное оружие — немецкий револьвер системы «Арминиус». Был он из вторых — если не из десятых — рук и выглядел облезлым, как кот с помойки, что оскорбляло мое эстетическое чувство.

— Давай я тебе его завороню, — предложил Гриша.

Я с благодарностью согласился, завернул револьвер в какую-то тряпку, и Гриша положил сверток в свой «дипломат».

Прошло несколько дней, и когда я при встрече с Гришей спросил его о револьвере, тот виновато сказал:

— Извини, старик, но он в полиции.

— Как в полиции?!

— Понимаешь, заворонил я его, завернул в ту же тряпку, положил в «дипломат» и повез его к тебе. По дороге припарковал машину на тротуаре, в запрещенном месте, и забежал на пять минут к знакомой. Возвращаюсь, сажусь за руль и открываю кейс — что-то мне там понадобилось. Смотрю: револьвера нет. Пришлось идти в полицию сдаваться. Выяснилось, что пока я бегал к знакомой, мимо моей машины проезжал патруль, и она показалась им подозрительной. Полицейские вскрыли ее, открыли «дипломат» и увидели револьвер. Они аккуратно закрыли машину, а оружие твоё увезли. Делать нечего, иди теперь в штаб полиции на Русское подворье, вызволяй свой «Арминиус».

Явился я в полицию, где с меня сняли допрос, заставили заполнить какие-то бланки, а потом откатали мои пальчики, как у пойманного воришки. Думаю, что в тамошних архивах эти отпечатки хранятся до сих пор — на всякий случай... Револьвер, однако, все же вернули.

ИЕРУСАЛИМСКИЙ ОБЩЕПИТ

Грешен: люблю поесть. В семейной жизни в этом отношении мне повезло: обе мои жены, бывшая и нынешняя, замечательно готовят. Но, во-первых, в Израиле я десять лет прожил холостяком и кулинарными талантами не отличаюсь, а во-вторых, и в женатом состоянии я с удовольствием пользуюсь время от времени услугами общепита, устраивая, говоря словами Шукшина, «забег в ши-

рину» — иногда с друзьями, иногда — с женой, иногда — и с женой, и с друзьями. Благо в Израиле эта отрасль народного хозяйства развита прекрасно, а Иерусалим вообще даст фору любому городу, даже Тель-Авиву с его потрясающими йеменскими ресторанчиками в районе Керем ға-тайманим — Виноградник йеменцев — и Тверии, где готовят самые вкусные в стране, на мой взгляд, рыбные блюда.

Так что, оказавшись в родном городе вне дома и проголодавшись, я никогда не испытывал и не испытываю недостатка в выборе ресторанов, шашлычных и совсем непритязательных с виду харчевен, где кормят вкусно и по вполне доступным ценам.

Первым рестораном, куда я стал захаживать с легкой руки Натана Файнгольда, открывшего для себя это заведение еще до моего приезда, был йеменский «Марвад ға-ксамим» — буквально «Волшебный ковер», то есть «Ковер-самолет»: так называлась операция по вывозу в Израиль из этой страны в сорок девятом-пятидесятом годах около пятидесяти тысяч евреев. Симпатичный худощавый хозяин этого заведения, находившегося в самом центре города, на улице Короля Георга, Ави разрешал нам приносить с собой выпивку, и с тех пор это стало неперменным моим условием при первом посещении новых для меня «общепитовских точек». «Мы, „русские“, — говорил я хозяевам, — пьем много, и, если будем заказывать у вас спиртное, нам никаких зарплат на это не хватит. Так что если хотите заполучить меня и моих друзей в качестве постоянных клиентов, разрешите нам приносить выпивку с собой». В этом мне редко отказывали, поскольку ели мы, как правило, помногу и не скупилась на чаевые. «Марвад ға-ксамим» был классическим ближневосточным рестораном с неперменными соленьями и разнообразными салатами, подававшимися бесплатно, фасолевым супом и курдским супом-кубе с шариками из манки, начиненными говяжьим фаршем с луком и специями, с жаренным на открытом огне разнообразным мясом и схугом — острым соусом на основе перца чили, чеснока и дополнительных приправ, напоминающим грузинскую аджику. Этот замечательный ресторан существует и сегодня, только в другом доме на той же улице Короля Георга.

Следующим местом, где мы с Натаном стали завсегдатаями, был роскошный и очень дорогой грузинский ресторан «Джорджия». Находился он в нижнем конце улицы Царя Давида, поднимающейся от улицы Агрон к Мельнице Монтефиоре. Фасад здания вокруг входа был выложен гранитной плиткой, и мы никогда не осмелились бы переступить порог этого чертога, если бы нам не было известно, что специально для «русской» публики в стороне от основного зала есть небольшое помещение на несколько столиков, где цены вполне божеские. Просуществовало это заведение с типично кав-

казской кухней несколько лет, но, видимо, обанкротилось, и на его месте был открыт марокканский ресторан «Маракеш», куда мы уже не ходили, потому что скидок для «русских» там не было.

За почти четыре десятилетия моей иерусалимской жизни открылись и закрылись десятки полюбившихся нам значных мест. О судьбе шашлычной «Макам», а в просторечии — «У Нисима», а также «шашлычной Убийцы» я уже писал в мемуарах. Такая же судьба постигла довольно долго просуществовавший ресторан на улице Пророков, который содержали муж с женой, позволявшие нам играть в преферанс в дальнем зале, куда никто, кроме «русских», не заходил. Закрылся находившийся в переулке за универсамом «Машбир» молочный ресторанчик, хозяевами которого была супружеская пара ультраортодоксов. Там подавали изумительные блинчики и мороженое собственного изготовления. Приказал долго жить ресторан «Га-Мишпахá» — «Семья» — в центре города, на улице Йозля Саломона, куда я заглядывал на протяжении по меньшей мере двух десятков лет. Когда в Израиль приезжал из Москвы мой друг Боря Крутиер, король российских афористов, я его водил только туда. Коронным блюдом, соответствовавшим Бороному королевскому достоинству, был там «меура́в йеруша́лми» — жаренная на железной плате с луком и чипсами всякая мелкая мясная всячина: куриные сердца, печенка и пупочки, бараньи яйца и тому подобное. Закрылся и ресторан с отличной турецкой кухней «Пашá» в промышленном районе Тальпиот.

Однако многие рестораны и шашлычные, существовавшие, когда я приехал в Иерусалим, работают и поныне. Это, среди прочего, «Хацот» — «Полночь» — на улице Агрипас, где готовили замечательные стейки. Там, впрочем, поменялись хозяева, и новые не разрешают приносить свою выпивку, так что я теперь там не бываю. Это ресторан «Сима» на той же улице, в двух шагах от здания, где находится Иерусалимская русская библиотека. Когда я был побогаче, то заказывал там бараньи ребрышки, а сейчас ограничиваюсь шашлыком из говядины, который почему-то намного дешевле. Долго держится грузинский ресторан «Кенгуру», хотя я перестал посещать его лет двадцать назад, когда он стал открываться по субботам и, следовательно, утратил кашерность. Несколько лет назад, к моему глубокому сожалению, прекратил существование великолепный молочно-рыбный ресторан в «Бейт-Тихо» на улице раввина Кука у площади Сион, фирменным блюдом которого был луковый суп, подававшийся в специально испеченном в форме горшка хлебе со срезанной макушкой и удаленной мякотью.

В потрясающий аргентинский ресторан «Эль-Гаучо» у Кошачьей площади, где семисотграммовую порцию мяса подавали в сковоро-

родке на горящей спиртовке, чтобы оно не остывало, мы с женой договорились пойти в день написания этих строк, но нас ожидал удар: он закрылся...

НЕСБЫВШАЯСЯ МЕЧТА

Многие из новых репатриантов семидесятых годов, начиная обживать в Израиле, подумывали об открытии собственного дела. Кое-кто решался на это и преуспел, кто-то — решался и прогорал, а у большинства эта мечта так и осталась несбывшейся: надо было брать банковские ссуды, искать гарантов — риск был слишком велик. К этой последней категории отношусь и я.

Привлекали меня два варианта. Первый — передвижная книжная лавка. Если в четырех крупных городах — Иерусалиме, Тель-Авиве, Хайфе и Беэр-Шеве — были книжные «русские» магазины с продукцией советских и эмигрантских издательств, то на периферии, куда попадало немало новых олим, таковых не было, и людям приходилось ездить за книгами за много километров от дома — а в те времена далеко не все семьи сразу же обзаводились машинами. Жители небольших городов и поселков, как мне представлялось, с радостью будут приходить раз в неделю-две к торговому центру, где уже повсеместно открывались «свинные» магазины, и покупать рядом с ними книги, которые я буду туда привозить, давая соответствующую рекламу в русскоязычных газетах. Думаю, что из этой затеи могло бы что-то выйти, если бы у меня хватило порогу рискнуть, купить подержанный «пикап» и, наладив связи с оптовиками, взяться за дело. Правда, впоследствии выяснилось, что продержался бы я недолго: люди алии семидесятых в массе своей устраивались на работу, налаживали быт и переставали покупать книги: им было не до чтения. Репатрианты восьмидесятых — начала девяностых в большинстве своем вообще ничего не читали ни на доисторической родине, ни на исторической. В результате всего этого даже ежедневные газеты хирели и закрывались одна за другой. В две тысячи семнадцатом году их вообще ни одной не осталось.

Второй вариант был следствием того, что было уже сказано выше: грешен — люблю поесть. Добавление «и выпить» для тех, кто читал мои мемуары, излишне. И подумывал я об открытии небольшой пивной или закуской.

В Израиле, как ни странно, пивных баров как таковых нет и полностью отсутствует культура потребления бочкового пива. При этом отечественное пиво — светлое «Макаби» и темное «Гольд-стар» — высочайшего качества, не говоря уже о том, что в стране

выпускаются по лицензии сорта лучших европейских марок. Если в России даже в советские времена пивбары разных уровней были, как правило, на каждом шагу и к пиву предлагались соответствующие закуски: креветки, вобла, соленые сухарики, а зачастую и раки, — то в Израиле специализированных пивных, как уже сказано, нет, а в обычных барах и ресторанах, где есть бочковое пиво, к нему подают разве что маслины — меня это сочетание никоим образом не вдохновляет. К тому же стоит израильское пиво безумно дорого: до восьми долларов кружка — при том, что платят за него рестораторы по меньшей мере впятеро меньше этого. Оговорюсь, правда, что положение дел в рыбных некашерных барах, где в меню всякие каракатицы и те же креветки, мне неизвестно, — я в них не бываю.

Что касается закусовых, то дешевых забегаловок типа рюмочных у нас не существует — израильтяне обычно не пьют, и бывшему россиянину выпить сто граммов и закусить порцией сосисок с зеленым горошком попросту негде. Да и стоимость водки в розлив у нас здесь безбожно высока. Так что я представлял себя хозяином прохладного полуподвала, где за невысокую цену можно, сидя за столиком, выпить стопку-другую недорогой водки и закусить соевым огурчиком, ломтиком селедки или навильничком квашеной капусты в ожидании порции упомянутых сосисок или ломтя сваренной в котле колбасы с простецким гарниром, и был почти готов сунуть голову в петлю частного предпринимательства. К счастью своему или к несчастью, но я на это так и не решился.

ИЗРАИЛЬТЯНЕ И АЛКОГОЛЬ

Израильтяне почти не пьют. Если увидишь пьяного на улице или в предприятии общепита, можешь быть уверен: это свой брат «русский» (в кавычках и без).

Сегодня-то уроженцы страны и старожилы уже познакомились с нами и поняли, что к чему, а лет сорок назад над их наивностью хохотала вся алия.

Вот только два примера.

В семьдесят восьмом году сидел я поздно вечером с двумя приятелями у себя дома; мы играли в преферанс. Когда у нас кончилось спиртное, один из моих гостей, Толя, стоматолог, а ныне известный предприниматель, вызвался съездить за выпивкой. Уже крепко навеселе, он сел в свою машину (стоматологи у нас обзаводятся личным транспортом очень быстро) и отправился из Неве-Якова, района на севере Иерусалима, в населенное арабами городское предместье Шуафат. В то время мы еще ездили туда без всяких

опасений, делали там покупки, благо арабские магазины работали допоздна, а их владельцы, заполучив в соседи «русских», стали завозить для них водку и бренди. «Мирный процесс», не к ночи будь помянут, тогда еще не начался, и такого террора, как после «соглашений Осло», в Иерусалиме не было.

По дороге Толю развезло, и он на приличной скорости врубился в припаркованный у обочины автомобиль. Моментально собрался народ, арабы и евреи; моего приятеля вытащили наружу, при этом он активно отбивался и бормотал что-то бессвязное, да еще и по-русски.

— Ему же плохо! — воскликнул кто-то. — Он болен! Его надо везти в больницу!

Какой-то человек предложил для этой цели свою машину, Толю попытались в нее усадить, но он стал сопротивляться еще яростней, и от него отступились. Оставив под «дворником» чужого пострадавшего авто свои координаты, малость протрезвевший от случившегося Толя продолжил свой путь в магазин, и вскоре мы втроем уже выпивали за его чудесное избавление от серьезных неприятностей.

Когда я вскоре после приезда подружился с Левой Меламидом (о нем — в книге моих воспоминаний), тот рассказал мне такой эпизод. Сразу же после своей репатриации — он стал израильтянином за два-три года до меня — его пригласил к себе на обед дальний родственник, то ли местный уроженец, то ли старожил. Лева явился первым и в ожидании остальных гостей зашел на кухню — ему необходимо было поправить здоровье.

— У тебя водка есть? — спросил он родича.

— А как же! — гордо ответил тот. — Мы о ваших нравах слышались, — и, достав из морозилки запотевшую непечатую бутылку и поставив ее на стол, вышел из кухни.

Лева взял большой, граммов на двести пятьдесят, стакан, налил его до краев, выпил и закусил чем-то подвернувшимся под руку.

Когда хозяин дома вернулся, он посмотрел на бутылку и сказал:

— Лева, я не жадный, да и того, что тут осталось, конечно же, для нашей компании будет достаточно. И все же я не могу понять: зачем ты вылил треть бутылки в раковину?!

ОТКРЫТКА ОТ ЕФИМА ЭТКИНДА

Осенью восемьдесят восьмого года я получил открытку из Парижа от Ефима Эткинда, знаменитого филолога, историка литературы, переводчика европейской поэзии, с которым не был знаком. Эткинд писал:

«14 сент. 1988 г. Дорогой Борис Камянов! Только что — и к тому же случайно — прочел я Вашу книжку „На облегченной лире“ и не могу не сказать Вам, что благодарен за естественность, блеск остроумия, неожиданность сюжетных и стиховых находок, за соединение доброго юмора и злого сарказма, за ненавязчивость каламбуров (и, в особенности, за „Ночной зефир...“). Давно не видел я такой легкой и талантливой книжки стихов, которая на редкость смешная и, никого не оплевывая, определена своей позицией. Спасибо. Сердечно Ваш Е. Эткинд (Ефим Григорьевич)».

Я, конечно, возгордился — не каждый день меня хвалят корифеи! — и, расценив указание имени и отчества как призыв к переписке, написал ответное благодарственное письмо, в котором позволил себе ненавязчиво, как мне казалось, поплакаться Эткинду в жилетку, сетуя на недостаток внимания со стороны прессы. Письмо я вложил в свою книжку стихов «Исполнение пророчеств» и отправил ее в Париж с тайной надеждой на публичный отзыв.

Ни ответа, ни привет... Достал я, должно быть, Ефима Григорьевича своими жалобами.

УСТАМИ МЛАДЕНЦА

Прежде чем добавить этот небольшой колосок к своему снопу, должен дать несколько разъяснений тем, кто не знает иврита.

В святом языке окончание существительных и глаголов во множественном числе мужского рода — *-им*, женского — *-от*. *Байт* («дом») — *байт́им* («дома́»); *рхов* («улица») — *рхово́т* («улицы»). *Ла́ма* означает «почему»; *ло* — «нет», «не»; *а́ба* — «папа»; предлог *эт* передает значения русского винительного падежа (кого? что?); *о́гав́им* — «лю́бим», «любят».

С Ниной и Анечкой мы дома говорили по-русски, с Ашером по-русски и на иврите, так что, когда он был маленьким, речь его была макаронической, смешанной.

Однажды, когда ему было года три, он спросил меня:

— *А́ба, ла́ма соба́ким ло о́гав́им эт ко́шкот?*

Мудрый ребенок тонко постиг распределение ролей этих животных в жизни.

Русский язык Ашер понимает, но не говорит на нем, однако время от времени удачно острит по-русски. Однажды, когда я сказал ему, что он надоел мне своими просьбами, и назвал его поросенком, он моментально выдал:

— Я — попросенок!

Тут самое время привести следующую историю.

ПАССИВНЫЙ ГЕПАРД

Пасхальную неделю девяносто первого года мы с Ашером проводили, как всегда, у Шнейдеров в городке Маале-Адумим. В один из дней мы решили всей компанией поехать в рамат-ганское сафари.

Недавно завершилась Война в Персидском заливе, когда Саддам Хусейн время от времени посылал нам по воздуху приветы с до-исторической родины — ракеты «Скад». Была у нас на всю страну одна-единственная, слава Богу, жертва — старушка Роза Топаш, двоюродная сестра моего отца. Когда недалеко от ее дома, у дорожно-транспортной развязки Чек-Пост на северном выезде из Хайфы, разорвалась ракета, у тети Розы произошел разрыв сердца. Лексикон израильтян, постоянно ожидавших обстрелов с использованием химических боеголовок, пополнился в те драматические недели новыми понятиями, такими как *хэдер ату́м* (загерметизированная комната), *мамáд* (аббревиатура слов *мерхáв мугáн дира-ти́* — «защищенное пространство в квартире» — одна из комнат, полностью из бетона, со стальным щитом, закрывающим окно, и укрепленной дверью), *бардáс пасíви* (полиэтиленовый капюшон для детей)...

И вот мы в Рамат-Гане. Жара в тот день стояла несусветная, люди поглощали прохладительные напитки литрами, а животные в своих клетках и загонах выглядели как вареные и старались поменьше двигаться.

Мы подошли к клетке с гепардом, на которой красовалась табличка с названием этого зверя на языке Торы: «*Барделáс*». Пятнистый красавец грациозно раскинулся, лежа на боку, в скудной тени дерева, не шевелился и не обращал на посетителей ровным счетом никакого внимания. Девятилетний Ашеренок дернул меня за руку и сказал на иврите:

— Папа, смотри: *барделáс пасíви*!

Мы с сыном оба были счастливы: он — потому, что удачно составил, я — потому, что лишний раз убедился в наличии у моего малыша чувства юмора.

Надо сказать, что и сестрица Ашера Анечка тоже обладает чувством юмора. Так, однажды, когда я в порыве любви к сыну, которому было тогда лет пять, сказал ему:

— Ты — улада моей старости, — восемнадцатилетняя дочка, которой приходилось присматривать за своим гиперактивным братишкой, когда мы с Ниной уходили в гости, мгновенно отреагировала:

— И укисла моей молодости!

ХОЛОДИЛЬНИК ДЛЯ ШКУР

А вот пример тому, как жестоко может опозориться человек, пытающийся переводить с языка, который он толком не знает.

В восьмидесятых годах в еженедельнике «Круг» часто печаталась новая репатриантка, журналистка С. В одном из номеров она опубликовала «бородатый» израильский анекдот в собственном переводе с иврита. Вот как он звучал в ее интерпретации. Иммигрант из США привез на историческую родину семь холодильников и просит таможенника освободить их от налога. «Зачем тебе столько?» — спрашивает тот. «Один — для мясного, другой — для молочного, третий — для шкур». — «Ну хорошо, пусть три, а остальные зачем?» — «Четвертый — для мясного в Песах, пятый — для молочного в Песах, шестой — для шкур в Песах». — «Ну а седьмой-то для чего?» — «Не стану же я держать свинину вместе с кашерными продуктами!» Я никак не мог врубиться, при чем тут шкуры, пока не догадался. «Шкура» на иврите — *парвá*, а в анекдоте фигурирует не *парвá*, а *парвз* — продукт, не относящийся ни к мясному, ни к молочному, который можно есть хоть с колбасой, хоть с сыром.

ИВРИТ – ТРУДНЫЙ ЯЗЫК

На пути к овладению ивритом российских евреев ожидают разнообразнейшие приключения. Когда в компанию ивритоговорящих попадает свеженький репатриант, еще не освоивший еврейский язык, публика обычно замирает в ожидании бесплатного развлечения — и новички, как правило, ее не разочаровывают.

Однажды моя соседка по дому, дама лет пятидесяти, зашла в галантерейный магазин, чтобы купить застежку-«молнию» (на иврите — *рич-рач*). Она сказала продавцу:

— *Ани роцá* (я хочу) *чик-чак*, *эсрím* (двадцать) *сантиметрим*.

— *Гвэрет* (госпожа), — вежливо ответил тот, — *чик-чак ани яхóль*, *авáль ло батúах*, *ше-еш ли эсрím сантиметрим*. (*Ани яхóль* — я могу; *аваль ло батуах*, *ше-еш ли* (но не уверен, что у меня есть)).

Бедная женщина перепутала *рич-рач* и *чик-чак* (по-быстрому).

В другой раз та же моя соседка поехала на маршрутном такси из Иерусалима в Тель-Авив. На въезде в город она обратилась к водителю:

— *Таацóр ли по, бевакашá, ани црихá лалéдет* (Останови для меня, пожалуйста, здесь, я должна родить).

Она хотела сказать *ларéдет* (спуститься, выйти)...

ТЯЖКОЕ БРЕМЯ СЛАВЫ

Ашер вырос, стал чемпионом Израиля по тхэквондо, трижды занимал пятые места на чемпионатах Европы, стал тренировать детей, и иерусалимские сверстники его хорошо знали. В дополнение ко всему он, как говорят в Израиле, *хевремáн* — парень компанейский, и чуть ли не вся столичная молодежь числится у него в друзьях и приятелях.

Уйдя из большого спорта, Ашер стал полицейским детективом в отделе по борьбе с мошенничествами, параллельно закончив криминологический факультет Бар-Иланского университета.

Идет он однажды по одной из центральных улиц столицы и «пасет» подозреваемого, изображая из себя обычного прохожего. Вдруг рядом с ним останавливается машина, из нее высовывается радостная физиономия одного из его корефанов, и тот кричит на всю улицу:

— Привет, Ашер! Что ты тут делаешь — за преступником следишь?

Немая сцена...

«ТЕБЕ ЗВОНИЛ БОРИСКА»

Моя добрая подруга Ленка Климовицкая, о которой я писал в своих мемуарах, русская женщина, приехала в Израиль без мужа-еврея, направившегося с родителями в Америку, и жила в Иерусалиме с двумя маленькими сыновьями, перейдя с ними в еврейство по всем религиозным законам. Я познакомился и подружился с ней сразу же после ее переезда в страну, и мальчишки росли у меня на глазах.

Однажды Ленка, вернувшись домой, спросила у детей:

— Мне кто-нибудь звонил?

— Звонил Бориска, — ответил ей один из них.

— Какой еще Бориска? — удивилась Ленка.

— Ну, тот, который часто у нас бывает. Бориска Мянгов!

О ЧУВСТВЕ ЮМОРА ТВОРЦА

То, что у Всевышнего есть, среди прочего, чувство юмора, логично вытекает из того факта, что этим свойством обладают люди — хотя, увы, далеко не все, — созданные по Его образу и подобию. А вот творения человека, созданные уже по его собственному образу и подобию, чувства юмора лишены напрочь.

В 1995 году Миша Михаэли, хозяин «Иерусалимского издательского центра», начал работу над макетом моей новой юмористи-

ческой книжки «Параноев ковчег». Одним из ее разделов были «Офонаризмы», расположенные по алфавиту. В первом же из «офонаризов», состоящим из одного слова — «Араболепствующие», электронный корректор нашел ошибку и исправил ее: «А раболепствующие». Раз за разом вводя в компьютер придуманное мною слово и неизменно получая все тот же результат, мы с издателем были в восторге.

К сожалению, Миша вскоре трагически погиб, и моя книжка вышла только через три года в издательстве Зиновки Палвановой «Скопус».

МАСТИТЫЙ ПОЭТ

Среди моих «офонаризов» есть и такой: «Если у поэтессы мастит, это еще не означает, что она маститая поэтесса». Придумалась эта немудреная шутка, когда мне было лет восемнадцать, и я и представить себе тогда не мог, что на склоне лет буду страдать этим специфически женским заболеванием.

В начале двухтысячных годов в тех местах моего тела, где находятся молочные железы, образовались болезненные уплотнения, и мой лечащий врач послал меня к эндокринологу больничной кассы. Анализы показали, что у меня резко снизилось содержание тестостерона в крови и в результате этого развилась вульгарная мастопатия. Эндокринолог направил меня в поликлиническое отделение больницы «Гадаса» на маммографию и консультацию онколога.

В больнице я явился в соответствующее отделение и подошел к окошку секретарши. Между нами состоялся такой диалог.

- Здесь делают папографию?
- Какую еще папографию?!
- А что тут делают?
- Маммографию!
- Хорошо, пусть будет маммография. Запиши меня.
- Сколько лет твоей жене?
- А тебе какое дело?
- То есть как «какое дело»?
- А при чем тут моя жена?
- А кого ты записываешь? Любовницу?
- Себя!

Ошарашенной девице, которая, очевидно, была тут новичком, ничего не оставалось, кроме как внимательно прочесть направление и назначить мне очередь.

Бедные, бедные женщины! Боль, подобной которой я раньше не испытывал никогда, они переносят раз в году во время профи-

лактических проверок. Подвели меня к своего рода тискам, запихнули мое волосатое подобие молочных желез в этот пыточный станок и стали крутить какую-то ручку, все сильнее сжимая комок нарастающей боли, в который превратилась эта часть моей плоти... Даже вспоминать страшно.

Зато вторая часть моего визита в «Гадасу» — посещение онколога — заставила меня забыть о перенесенных страданиях.

Профессор предложил мне раздеться и лечь на топчан. Он долго ощупывал мою грудь и наконец сказал ассистировавшему ему студенту:

— Если кто-нибудь скажет тебе, что у мужчины не может быть рака груди, плюнь ему в физиономию.

Я захохотал и долго не мог остановиться, а оба добрых айболита, опытный и начинающий, смотрели на меня с недоумением и опаской, сочтя, очевидно, сумасшедшим.

Рак у меня, тем не менее, обнаружен не был, а мастопатию мой эндокринолог победил регулярными уколами, благодаря которым уже много лет тестостерон держится в норме.

НЕ СПЕШИТЕ МЕНЯ ХОРОНИТЬ

Презентация одного из первых номеров «Иерусалимского журнала» проходила в роскошном зале столичного муниципалитета, а по окончании официальной и художественной частей редакция и приближенные к ней литераторы отмечали это событие в просторном кабинете, в центре которого стоял стол, заставленный напитками и легкой закуской.

Когда все уже несколько охмелели, кто-то из собравшихся произнес:

— Давайте выпьем за Боря Камянова!

Тут какой-то не известный мне молодой человек, стоявший в стороне — стула для него не хватило, — с удивлением произнес:

— А разве он еще жив?!

Все захохотали, я — громче всех, а Игорь Бяльский, главный редактор журнала, сказал ему:

— Да вон он сидит! — и указал на меня.

С тех пор прошло больше двадцати лет, а я все еще жив и надеюсь протянуть еще какое-то время.

ОРА И ЕЕ ПРИДАНОЕ

Со второй своей женой Орой я познакомился в девяносто седьмом году. Как я уже писал о том в книге воспоминаний «По соб-

ственным следам», выяснилось, что мой Ашер и Орин сын Меир, он же Марик, учатся в одной школе и, более того, — в одном классе. В этом мы, конечно же, увидели с ней перст судьбы.

Ашер стал приходить к нам на субботу с ночлегом, и мальчишки, которые раньше в классе почти не общались, быстро подружились. Было им тогда по четырнадцать лет, мой сын старше Ориного на тринадцать дней. Мы вместе ходили в синагогу, и однажды произошла следующая сценка. В одну из суббот мы вышли из дому, и к нам присоединился новый сосед, молодой репатриант из распадавшейся тогда Югославии. Он посмотрел на моих мальчишек и спросил:

— Это твои сыновья?

Я ответил утвердительно.

— И какая между ними разница в возрасте?

— Тринадцать дней, — ответил я.

Глаза у парня полезли на лоб...

Сегодня и Ашер, и Меир женаты, у Ашера — три дочери, у Меира — сын и две дочери, и они дружат теперь уже семьями. Мы часто собираемся по праздникам и субботам в поселении Швут-Рахель, где у Ориной дочки Хаи и ее пятерых детей трехэтажный дом; бывает, что к нам присоединяются моя Анечка с сыновьями, и в окружении четырех детей, тринадцати внуков, двух правнуков и двух невесток я чувствую себя абсолютно счастливым.

Собираясь вместе, мы часто вспоминаем смешные высказывания наших чад и их сыновей и дочек, когда они были маленькими.

Так, двухлетний Меир рано утром, проснувшись, пришел к Оре и сказал:

— Мама, я голодный, я всю ночь ничего не ел...

Все дедушки и бабушки считают своих внуков красавцами, мы с Орой — не исключение. Но если некоторые, движимые вполне понятными побуждениями, пытаются выдать желаемое за действительное, то мы с женой можем представить доказательства своей объективности.

Когда мы с Орой были еще молодыми супругами, где-то в конце девяностых, богатая фирма, в которой она тогда работала, устроила для своих сотрудников с семьями праздник в одном из тель-авивских парков. Ора с Хаей, у которой меньше чем за год до этого родилась третья дочка, Сара-Ривка, были приглашены вместе со всеми другими гостями в павильон, где детям предложили разнообразные игрушки. Наши старшие, Авиталь и Пнина (для домашних — Полечка), выбрали кукольную коляску, в которую усадили кудрявую ангелоподобную Сару-Ривку, и вся компания отправилась к выходу из павильона. Тут к ним подошла маленькая девочка и сказала:

— Где вы взяли эту куклу? Я тоже хочу такую!

СОДЕРЖАНИЕ

По собственным следам

От автора 9

Россия

Семья 11
Детство 17
В старших классах 30
«Знамя строителя» и его знаменосцы 42
В тупике 63
Решение принято 119
Отъезд 142

Израиль

Начинаю с нуля 154
Последний холостяцкий год 194
Вторая попытка семейной жизни 216
«Жена моя постылая — свобода...» 271
Эра Оры 309

Колоски памяти

Вступление 335
Диалог 335
Целлулоидный лебедь 336
Бить первым 337
Первые сочиненные мною стихи 337
Первая сочиненная мною песня 339
Безотказный прием 341
Невероятная быль 342
Как я ограбил банк 342
Побольше бы таких покупателей 343
Как я стал уголовником 344
Иерусалимский общепит 344
Несбывшаяся мечта 347
Израильтяне и алкоголь 348
Открытка от Ефима Эткинда 349
Устами младенца 350
Пассивный гепард 351
Холодильник для шкур 352
Иврит — трудный язык 352

Тяжкое бремя славы	353
«Тебе звонил Бориска»	353
О чувстве юмора Творца.	353
Маститый поэт.	354
Не спешите меня хоронить	355
Ора и ее приданое	355
О Лёне Рудине	357
Б-жественное уб-жество перевода	357
Мера за меру.	361
Российский новояз.	362
Осторожно: слово!	363
Пиковый Губерман.	365
И ты, Гузеева....	367
Наши старички.	368
Женская логика	369
Благочестивый рефлекс	370
Тата, какой я ее помню	370
В защиту «расиста» Трестмана	371
Он принял удар на себя	373
Колоски, оброненные Орой	374
Рецепт доктора Марика	374
Ора каламбурит и просто шутит	375
Из любимых баек Оры.	375
О Феликсе Курице	375
Он остался для меня молодым	378
Очки	380
Она была права	380
Наши вежливые внучки	381
Как дела?	381
Доброжелательная Талечка	381
Русский язык наших девчонок	382
Наш внук № 4 — Йонатан	382
Наша внучка № 7 — Ноа	384
Внучка № 12 и правнук № 1	384
Животные в Иерусалиме	385
Сюрприз к юбилею	387
В погоне за Брежневым	389
Крыша набирает скорость	390
Гости из Москвы	391
Мудрость реб Йосефа	393
Диалог по «Скайпу»	394
Мнемотехника помогла	394
Шутка экстра-класса	394
Откашерованный Чуковский	395

Ушел из жизни Моше Гишплинг	395
Об Анатолии Алексине	397
Мардимские	398
Бездарный критик средней ноги	398
Как я стал «фейсбукинистом»	398
Об Олеге Табакове	400
О моем переводе Пятикнижия	401
Об Инне Хаимовой.	403
Час истины	403
И я на что-то сгодился.	405
Фейсбучные игры	405
К 100-летию со дня рождения Павла Когана	407
Переписка с Ниной Локшиной	408
Памяти Юлии Друниной.	409
Бардак во время чумы	411
Голуба моя	412
К вопросу о «Боренькиной рюмочке».	414
Я струсил...	416
Диалог Оры и Хаи	417
Не подпускай!	417
Прощай, Вера!	418
Раскол	419
Израиль на пороге катастрофы	420
Нет правил без исключений.	423
Мигающие огоньки «Столицы»	425
Не по шапке Сенька	427
Советское значит отличное (от нормального)	428
Еврейский китч	428
О Диме Быкове.	432
Чудесное спасение	433
Честный ответ	435
О выкrestaх	435
Время ненавидеть	438
Спасибо за дружбу, Леня!	439
Переписка с Володией Хананом	441
Признание в нелюбви	443
Просто мистика какая-то...	446
Мы — в финале	447
Последний смогист Леонид Колганов.	447
Просто — верчивый	450
Ох уж этот Союз пейзаелей...	451
Последний анекдот	454
Из «сердца горестных замет»	454
Мой род в шаге от гибели	454

Хриплый бред гениального графомана	456
Опасность оверкиля	460
Счастливо оставаться!	462
Хранилище моей любви	463
Я их понимаю	464
Из песни слово выкинешь!	466
Еще о русском языке.	467
Мои любимые слова	470
Коронавирус	470
Впал в дедство	474
Наше здравоохранение	474
Отпавшие	476
Задачи на засыпку	486
О тех, кто всегда рядом	488
Родная душа	502
«Дом строй, а домовину ладь»	504
Умер Вадим Ковда	505
О Мише Шнейдере	508
Наш семейный совмин	512
Переписка с поэтом Марком Вейцманом.	514
Мое Пятикнижие.	516
Автоэпитафия	518

Список некоторых

из упоминаемых в книге людей 519



Борис Камянов (Барух Авни)

Российский и израильский поэт, переводчик, публицист, юморист. Родился в 1945 году в Москве. С 1976 г. — иерусалимец.

Автор четырёх поэтических книг, а также трёх юмористических сборников и целого ряда переводов с иврита и идиш на русский язык. Переводил стихи Хаима-Нахмана Бялика, Шауля Черниховского, Авраама Шленского, Ури-Цви Гринберга, Иосифа Керлера и других авторов. Ему также принадлежит комментированный перевод «Песни песней» в соавторстве с раввином Н.-З. Рапопортом (2000). Стихотворения и переводы опубликованы в российских антологиях «Строфы века» и «Строфы века-2». Первый в истории перевод на современный русский язык Пятикнижия ждёт своего издателя.

Основатель и председатель Содружества русскоязычных писателей Израиля «Столица», издающего литературный альманах-ежегодник «Огни столицы». Член ПЕН-клуба. Лауреат четырех израильских литературных премий: им. Рефаэли (1985), им. У.-Ц. Гринберга (дважды: 2002 и 2003), «Олива Иерусалима» (2006), им. Д. Самойлова (2016).



ISBN 978-1-950319-51-0



9 781950 319510